



**Дружба
народов**

9/2022



В номере:

Жизнь наугад

Роман Елены ЕРМОЛОВИЧ «Химера» — классический плутовской роман: тут и интриги, и приключения, и обаяние записных мерзавцев. Герои «Химеры» тщетно пытаются заменить хоть кем-то своих утраченных любимых (так, хозяйка, у которой издох кот, с горя заводит второго точно такого же), следуют по жизни наугад, на ощупь, под обаянием момента, «у меня нет совести, только нервы». Не стоит выискивать исторические реалии в сочинениях скучающей дамы — она переносит в галантный век то ли героев Линча, то ли персонажей собственной драмы. И Степан, художник и шпион, — что он видит, этот наблюдатель: калейдоскоп реальных событий, или себя в зеркальных коридорах, или попросту сон?..

«Писать стихи сегодня неразумно»

Раздумья о роли и месте поэзии в жизни беспокоили и беспокоят поэтов. Ганна ШЕВЧЕНКО то ли укоряет, то ли горько констатирует, что «поэзией народы не накормишь/ и детские дома не обогреешь». Поиском «вдохновенных слов» озабочена и Анна ПАВЛОВСКАЯ, чьи стихи и переводы белорусского поэта Николы АДАМА напечатаны в рубрике «Двойной портрет». Молодые дебютанты «ДН» тоже рассуждают о том, что сказать миру и способно ли поэтическое слово его изменить. «Как смерть растерянно летит стихотворенье», — фиксирует Ростислав ЯРЦЕВ. «Все твердят, что это ад», — подхватывает Дмитрий ВОЕВОДА, но тут же одергивает себя: «Всё, что видишь, — это рай./ Ибо лучшего — не будет».

Матримониальная карта

«Семья остается одним из атрибутов успешной, сложившейся жизни, но сама — не благополучна. Воспринимается как залог устойчивости общества — но стремительно меняется. Считается воплощением любви — но отбивает охоту к контакту. Подается школой родства — а приучает к одиночеству». Тема заметок «Приключения тесного круга» Валерии ПУСТОВОЙ — проза А. Снегирёва, А. Аркатовой, Е. Некрасовой, К. Букши, «поставившая семью под вопрос». Критик считает, что актуальная проза о функции, месте, устройстве и философии современной семьи рождается на стыке между представлениями и правдой жизни.

Человеческое, слишком человеческое

Ольга БАЛЛА препарирует новый роман Алексея Сальникова «Оккульттрегер». Ощущения противоречивые: «Складывается впечатление, что Сальников избрал извилистый и окольный путь того только ради, в конечном счете, чтобы (в очередной раз) рассказать о современной русской провинциальной жизни, трудной, злой, темной, с совсем небольшими, ненадежными и недолговечными, но тем более драгоценными клочками уюта и тепла, с (простой межчеловеческой, а хоть бы и междемонической) любовью, которая, кажется, одна всё это освещает, освящает и спасает».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.07.2022.
Подписано в печать 23.08.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 3040/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. Инородный гость. <i>Стихи</i>	3
Елена ЕРМОЛОВИЧ. Химера. <i>Плутовской роман</i>	6
Ростислав ЯРЦЕВ. Теперь он минерал. <i>Стихи</i>	101
Никита КОНТУКОВ. ...и никакого просвета. <i>Рассказы</i>	104
Руслан БЕКУРОВ. Два рассказа	118

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Анна ПАВЛОВСКАЯ. Вокруг воздушной скинии. <i>Стихи</i>	132
Микола АДАМ. В стране белых рос. <i>Стихи. С белорусского.</i> <i>Перевод Анны Павловской</i>	134
Марго ГРИТТ. Вторжение. <i>Рассказ</i>	136
Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Каракульча. <i>Рассказ</i>	148
Елена СЕВРЮГИНА. В заводной сердцевине. <i>Стихи</i>	155
Анна ЛУЖБИНА. Пять историй про воровство и другие рассказы	158
Екатерина МАЕВСКАЯ. Два рассказа	171
Сергей ПРУДНИКОВ. Закат. <i>Рассказ</i>	180
Дмитрий ВОЕВОДА. Все твердят, что это ад. <i>Стихи</i>	187

НАЦИЯ И МИР

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Алдан. Несцепленные шестерёнки, или Золото заката. <i>Документальная повесть</i>	190
---	-----

КРИТИКА

Валерия ПУСТОВАЯ. Приключения тесного круга	223
Сборный пункт. Заочный «круглый стол». В этом номере — размышления <i>Павла БАСИНСКОГО, Веры БОГДАНОВОЙ, Дмитрия ВОДЕННИКОВА,</i> <i>Геннадия КАЛАШНИКОВА, Галины КЛИМОВОЙ, Бориса КУТЕНКОВА,</i> <i>Елены ЛАПШИНОЙ, Дениса ОСОКИНА, Александра СНЕГИРЁВА</i>	237

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Божественная эволюция. <i>Альтернативные подходы к религиозному и новое богословие</i>	247
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Фотография гомункула рядом с памятником Ленину (<i>Алексей Сальников. «Оккульттрегер»</i>)	263
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Побывать Незнайкой	269
--	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Мои 90-е. *Фото Даниила Духовского*

Summary	272
----------------------	-----

Ганна Шевченко

Инородный гость

* * *

Как барабан звучит
в утренних небесах —
тело нужно лечить,
душу надо спасать.

А дух — инородный гость,
в сердце вонзает гвоздь,
мается изнутри
и говорит — гори.

* * *

Помолчать бы надо в идеале,
говорить о чувствах аморально —
как вы существуете в реале?
Я живу, как водится, нормально.

Как и полагается, в субботу
поезда приходят без заминки,
я отважно еду на работу:
Выхино, Текстильщики, Кузьминки.

Каждый день беззвучно умирая,
как умеют только интроверты,
изучаю кодекс самурая
и почти не думаю о смерти.

Думаю о книгах интересных,
о героях Нового Завета
и о платьях женственных прелестных
умопомрачительного цвета.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиеве (Украина). По образованию финансист. Автор четырёх сборников стихов, в том числе «Форточка, ветер» (М., 2017), «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020) и книги прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса имени Фазиля Искандера (2017). Живёт в Подмосковье.

* * *

В августовском замкнутом и хмуром
воздухе синицы ни одной —
как же одиноко этим утром
рядом с переходом в выходной.

Только тапки с шёлковым халатом,
туфли, дождевик и кардиган —
город, как предсказывал Довлатов,
поместился в старый чемодан.

И поймёшь негадано-нежданно —
облака откроются вот-вот,
небо — это крышка чемодана,
что несёт к вокзалу пешеход.

* * *

Войдя неспешно в русло тротуара,
иду на свет и встраиваюсь в ряд —
тут три берёзы старого бульвара
веками, как апостолы, стоят.

Накрапывает. Мокрые курьеры
в дождевиках шныряют по Москве,
я, будучи адептом новой веры,
несу прохладу в левом рукаве.

Мне адресат пока ещё не ясен —
кто хочет поклоняться холодам? —
на перекрёстке вздрагивает осень,
и я его неверным не отдам.

Я знаю, сто шагов всего до рая.
Готовая к зелёному суду,
ветрами доведённая до края,
по улице Ореховой иду.

* * *

Какое сказочное гадство —
скрипеть подобно какаду,
Блок вымыл небо из пространства
ещё в семнадцатом году.

Нет безнадежнее удела,
чем чудеса из ниток шить;
ты спросишь, что мы будем делать,
отвечу — ветер ворошить.

Клеймо космического бренда
горит зелёным на плече,
как говорил товарищ Бендер,
поэт не должен. И вообще,

пойдём сегодня на природу,
пройдём у галок фейс-контроль
и сочиним такую оду,
что закипит в осинах кровь.

Ты государственная дума.
Броня. Негнущийся металл.
Спроси, кто этот стих придумал,
ответчу — ветер нашептал.

* * *

Бессонница в хрусталики бесшумно
вонзает металлическое жало —
писать стихи сегодня неразумно,
уж очень бытие подорожало.

С погонами художественной формы
не выступишь в ударной батарее,
поэзией народы не накормишь
и детские дома не обогреешь.

Уж очень бытие подорожало,
и рифмы на торгах подешевели,
лиричность закупают слишком мало
сегодня в поэтическом отделе.

Пора бы отказаться от навара,
в комиссионку сдавшись по обмену,
но, ухудшая качество товара,
я ставлю символическую цену.

Елена Ермолович

Химера

Плутовской роман*

С года двадцать пятого, с месяца января, в Кунсткамере, ещё прежней, той, что в Кикиных палатах, по ночам повадился являться призрак. Стройный, нарядный, одна беда — без головы. Бродил среди экспонатов, наткнулся на всё, не видючи-то.

Смотрители говорили: «Покойник-кавалер Демон ищет свою голову».

Через тернии к звёздам

— Это что ещё тут? Что за салон Анны Павловны Шерер?

Творилось невероятное. В стенах ИК-6 «Шексна» осужденный (именно с ударением на второй слог) Бесчастнов и жена его, гражданка Кирневич-Мурза, вдруг заговорили по-французски.

Pour m'accompagner, vous devez renoncer à votre vie et renaître à la mienn.

Вышли с длительного свидания, попрощались, Бесчастнов дотащил супружнице чемодан до двери. И уже от решётки, в полуобороте, разразился, пусть и с отменно славянским выговором, долгой французской фразой. Кирневич-Мурза немедленно ответила, тоже длинной фразой, наоборот, красиво и чисто, и завязался диалог, запрыгал и покатился картавый горох.

Конвоиры заслушались, растерялись. Скоро отмерли, конечно:

— По-русски говорить! И вообще — свидание окончено!

Бесчастного повели.

Кирневич-Мурза, Мишель Яновна — назвали ж человека, господи прости! — осталась со своим чемоданом, одна, под часами.

В КДС (что значит «комната длительных свиданий») висели дивные часы: деревянные, раскрашенные, точная копия астрономических часов из костёла в Гданьске. Внутри цифр вместе со стрелками ходили двенадцать знаков зодиака, все выпуклые, лаковые, а Близнецы были разнополые, голые, толстые, креветочно-розовые, будили в посетителях КДС нескромные мысли. Между шестью и четырьмя часами мерцал на циферблате непонятого назначения медный круг — то ли фазы луны, то ли ещё что. В медном круге отчётливо, штрихованной ловчей сетью отражались решётки.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живёт в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму). Лауреат премии «ДН».

Предыдущая публикация в журнале — 2021, № 10.

* Журнальный вариант.

И запах стоял в КДС — плотный, почти осязаемый: обжитого жилья, сладкого печёного лука и тряпок.

— Красиво? — кругленькая, как садовая соня, свиданщица загремела ключами в замке по ту сторону решётки, и Мишель Яновна тотчас перехватила ручку своего чемодана, чтобы выходить.

— Я видела настоящие, в церкви, в Гданьске, — сказала она и прибавила весело: — Ваши лучше!

— А что он тебе говорил? — спросила свиданщица прежде чем — вывести. Видно было, что любопытство её просто гложет. Пока лился французский диалог, она стояла, замерев, невидимая за решёткой, и слушала, слушала.

Мишель Яновна перевела для неё французское:

— Просил прихватить с собой такого — Яшу-Степашу. Он сегодня освобождается. Вот заберу его и поеду.

— В бухгалтерии ищи, — посоветовала свиданщица, выпуская, вернее, выводя, — им там проездные выдают.

Мишель Яновна — господи, имя-то какое! — улыбнулась, кивнула и пошла прочь, бия каблуками — кобылица копытами — и волоча барабанивший колёсиками чемодан.

В перламутровом, мутном, матовом зимнем небе летели птицы: то справа налево ватагой, то слева направо. То молча, то истошно крича. Ветви сахарными сделались от январского липкого снега, и солнце, лукавое, несмелое, всё не шло из-за туч.

Стёпка Малыга, тот самый Яша-Степаша, стоял на ледяном глазированном крыльце домика бухгалтерии и смотрел, задрав голову, на небо и на птиц, словно впервые. Шапка упала, роба раскрылась — роба дырявая, древняя, самая старая роба в бараке, не его, свою хорошую он оставил другому сидельцу. Шапка упала, ветер драл за уши — да ну и ладно.

— Степан!

Это была она, Мишка. Стёпка опустил — отпустил — глаза вниз от неба и птиц и увидал её. Он видел Мишку прежде, на фотографиях в телефоне у Беса, но даже если бы и не видел, то непременно бы её узнал. Мишка была как та инопланетянка-андроид из «Через тернии к звёздам», глазастая и с неземным платиновым ёжиком. И тонкая, словно бы её нарисовали. Где-нибудь в аниме.

— Ты же Степан?

Стёпка кивнул неуверенно, будто вдруг разбуженный.

— Ая Мишель, Мишка, — отрекомендовалась она и вдруг изобразила церемонный, с винтовым взмахом руки, какой-то придворный поклон. — Идём, я тебя переодену.

Стёпка, скользя, сбежал с ледяного крылечка и потрусил за ней следом. Мишка оказалась с ним одного роста, а он был мелкий, Стёпка, — метр шестьдесят всего. Но зато какая же она в жизни... Очень красивая.

Мишка остановилась возле крошечной сутулой машинки, раскрыла заднюю дверь и метнула к Стёпкиным ногам два пакета:

— Облачайся!

На стоянке не было никого, кроме них, но Степан растерялся — как же, она будет смотреть?

— Я отвернусь! — пообещала Мишка и тут же отвернулась.

Стёпка вытянул из пакетов поочередно: джинсы, свитер, пуховик, полосатый шарф. Разложил на сиденье, принялся переоблачаться, неуклюже прыгая. В пакете на дне остались кроссовки и два кукишем сложенных носка. Когда дело дошло и до них, Стёпка, всё ещё нелепо прыгая — что поделать! — краем глаза глянул на Мишку. Та считала ворон, как сам он давеча.

Стёпка скорым, вороватым движением отломил каблук у старого тюремного

ботинка, ногтем подцепил во глубине сим-карту, вытянул и спрятал. И потом только позвал:

— Всё, можно! Я закончил.

Мишка повернулась. Серебряный ёжик её запушился от инея, и ресницы тоже сделались пушисты и побелели. «Долго я прыгал», — усовестился Стёпка.

— Мы же бросим это здесь? — Мишка кивнула на горочку тюремного тряпья, грустно темнеющую на голубоватом снегу.

— Ага.

— Так помчали!

Стёпка ещё подумал: «Как бы Бес, двухметровый и весом в центнер, поместился в эту её игрушечную смешную машинку? В эту вот кошку горбом?» И, наверное, его мысль живыми буквами оказалась написана на простецком лице. Потому что Мишка сказала:

— Бес никогда в этой машине не катался. И не покатается никогда. У него сроку ещё двадцать три года.

И потом лишь — села за руль.

Снег был белее неба. По одну сторону дороги разлеглось широчайшее Рыбинское водохранилище, сонное подо льдом. Только возле лунок кое-где чернели согбенные фигурки одиноких рыбаков.

По другую сторону тянулась равнина, и из снега навстречу словно выскакивали домишки, халупки, дровяные дачки, а потом вдруг внезапно, как вышагнуло из снеговой зыби, — серое, зубастое, клыкастое, рогатое, с башнями, чистый Мордор. Гидроэлектростанция.

— Чистый Мордор, — так и сказала Мишка.

Стёпка смутился, промолчал.

— Весной тут был такой ветер, что волны захлёстывали дорогу, — сказала Мишка. — Высокие, серые, с пеной.

«Врёт», — подумал Стёпка, но опять промолчал. Он ждал — когда же, когда она спросит, отчего он Яша-Степаша?

Яша-Степаша. Он тогда потерял себя и забыл своё имя. И полгода после ареста, до суда, и после суда, в СИЗО и потом на централье откликался на имя Яша. Пропал, потерялся, сторел. В пепел рассыпался стлевшим окурком.

Он молчал в оцепенении, в ступоре, не в силах да и не желая выдавить из себя ни слова. На допросах — и в камере. Арестанты играли в терс, кричали:

— Яшка, Малыга, дачка тебе! — Он молча брал передачу и безропотно давал из неё «на общее». Зеки знали, что подобная немота случается с новичками, первоходами, и особо его не дёргали.

И в суде он всё молчал — оттого, наверное, и получил «меньше меньшего».

«Мутизм», — с презрением в голосе озвучил диагноз врач на централье, молодой кокетливый мерзавец по прозвищу Доктор Смерть, и прибавил совсем уж брезгливо: «Сопор, кикоз...»

Этот доктор ещё, веселясь и гимназически грассируя, звонко зачитывал диагнозы выстроенным на поверку зекам:

— Петрановских — ВИЧ, Филипенко — ВИЧ, Ященко — ВИЧ, — и заливался серебристым смехом. И Малыга — тоже. ВИЧ.

Потом, на зоне, выяснилось, что Доктор Смерть попросту выдумал им всем этот ВИЧ, он развлекался так, игрался.

Потом, на зоне, злой двухметровый Бес всё-таки заставил Стёпку заговорить. Разговорил. В карантине ещё даже, до-зоны, наверное, от скуки. Ни следователи, ни судья, ни адвокат, ни зеки не сумели, а Бес — он смог. «Баба била-била, дед бил-бил, а мышка бежала, хвостиком махнула...»

Бес-Бесчастнов, человек-гора, весь расписанный синим, как чайник гжелью, чудовищный, красивый и страшный. Он не пугал Стёпку так, чтобы нарочно, говорил очень тихо, спецом тихо, заставляя собеседника поневоле вслушиваться в слова. Жизнь выучила Беса, чёрного принца преступного мира, небывалой хищнической чуткости. Он, туз крестовый, всей разрисованной своею шкурой чуял малейшую ложь и фальшь, и мгновенно расслышал фальшивые ноты того самого Яши, и пожелал непременно разгадать ребус. Как и Доктор Смерть, он развлекался, игрался. Тешил себя. Бес был настоящий «рцд», рецидивист, но попал к ним, к первоходам, в ИК-6 на строгий режим. Как так вышло? Бес говорил — мол, по прежним делам срок вышел, судимости снялись. Ну и материальный интерес — на лапу дали кому следует. Потому что Бесу очень надо было именно в эту колонию, в ИК-6, для его целей. Он непростой был тип, этот Бес.

И он-то, конечно, разгадал. Что Стёпка — не Яша. Успел прежде, чем колония вручила Стёпке разгадку — арестантскую робу с биркой. Всплыло, как пена над супом, истинное имя зека Малыги, проходившее по всем его документам. Стёпка сделался Яша-Степаша, и Бес, раз уж так вышло и он принял в бедолаге какое-никакое участие, взял Стёпку под своё покровительство. На службу. В шныри.

— Сколько тебе лет? — Мишка, наконец, спросила, и не то.

— Двадцать два.

— А то мне Бес говорил о тебе: про Яшу-Степашу и про статью твою, а про возраст я что-то и не спросила, просто запомнила, что мальчишка.

«А вам сколько лет?» На вид Мишке могло быть и двадцать пять, и сорок. Но, кажется, ей было неплохо так за тридцать. Просто потому, что всем Бесовским «заохам» было хорошо так за тридцать.

В его квартире не было никого. Проданные комнаты стояли закрытыми, и белые двери отражались в лаковом паркете, как в реке. Пахло домом: старыми обоями, пылью, деревом и ещё чем-то, сладким и жалким. Стёпка шорохнул пакетами, зажёл свет.

— Стёпка! — Мишка не постучалась, просто толкнула дверь, и дверь поддала Стёпке по спине. — Смотри, кто-то в подъезде оставил!

Она не только вернулась — вволокла в прихожую ёлку. Белую, пушистую, меховую, что ли, всю в шарах и гирляндах. Ёлка упиралась лапами и нежно звенела.

— Держи, на счастье! — сказала Мишка. — И теперь уж точно пока!

— Вы — ку-ку... — Стёпка перехватил у неё ёлку и впервые улыбнулся.

В этой квартире четыре комнаты: две его, две нет. Две чужие необитаемы, закрыты на ключ, а две Стёпкины — в самом конце длиннейшего коммунального коридора. Мама, когда со Стёпкой всё это случилось, разделила лицевые счета и продала две комнаты из четырёх.

На Стёпиных комнатах не было замков — он толкнул дверь своей бывшей детской и вошёл. Свет из коридора лёг на паркет, как лунная дорожка. Окно светло синело, и в нём мерцали жёлтым — окна дома напротив. Раньше на этом доме напротив, на крыше, стояло исполинское рекламное красное сердце, загоралось и гасло, словно биясь. Мама говорила ещё: «Оно встанет — и помру, так ты меня замучил, Степаша». Сердца не стало — и да, вот...

Стёпка взял из пакета банку с какими-то китайскими сосисками, отколупнул крышку, сел в кресло, не зажигая в комнате света. Вытянул пару безвкусных сосисок из банки, сжевал. Потом встал, поставил банку на пол, распахнул оконную раму — в комнату вшагнул острый ледяной воздух, вмиг смяв воздух домашний, сладкий и жалкий. Стёпка вволок в комнату ёлку, прислонил к стене, воткнул гирлянду в розетку. Электрическое сияние вспыхнуло, отразилось в паркете. Стёпка покопался в карманах, вложил сим-карту в кнопочный телефон, сел в кресло и приготовился ждать.

В окне — в стекле закрытой рамы, пыльном, мутном — призрачно отсвечивала ёлка. А в открытом проёме — стоял его город. Стоял и глядел в лицо жёлтыми злыми глазами, разбуженный сыч, чудище обло, озорно, огромно, стозевно. И лаййй — летящей по проспекту сиреной.

Телефон зазвонил.

— Я, — сказал Стёпка.

— Что ты? — расхохотался Бес по ту сторону, у себя в Рыбинске. — Головка от?

— Привет, — смутился Стёпка, — я спал уже. Почти.

— Она — дома?

— Поехала домой, — решил за Мишку Стёпка.

— Добро. Ну, спи, засоня. До завтра. Завтра отчитаешься мне. Всё, пока, обнял.

Кажется, слово «шпион» в старину считалось обидным ругательством, за него могли даже вызвать. На дуэль. А в наши дни — «шпион» — звучало почти что почётно. Стёпка не знал, новая его роль лучше или хуже шныря. Он, и правда, хотел спать.

C'est lui!¹

На другой день Мишка уже не показалась Стёпке такой красавицей. Бледная, маленькая, с припухшими глазами, в шапке. Ничто не портит так человеческую красоту, как шапка. Мишка заехала за Стёпкой рано утром — тот едва успел кое-как помыться и почистить зубы пальцем, — и увезла его на новую службу.

С утра мело, и снег стоял в воздухе, как в сувенирном стеклянном шаре, Стёпка из-за снега толком и не разглядел Москву. Как в тумане, мелькали за стёклами фасады домов старого центра — будто тонкие надменные ангельские личики, бледно прописанные иконописцем. И иногда выступал из снега — как прежде тот рыбинский Мордор — какой-нибудь страшный современный стеклянный дом, торчащий среди изящных мансард, будто указующий перст.

Они доехали до Цветного, свернули во дворы, и Мишка остановила свою крошечную горбунью-машинку возле кирпичного дома, телесно-розового, с трубой.

— Выходи! Приехали.

Стёпка вышел, почти по пояс в снег. Отряхнулся, взбежал за Мишкой на стеклянное крылечко. Ему стыдно было себя, такого лохматого, маленького, в дешёвой одежде, да что поделать. По счастью, в холле Мишкиной фирмы не оказалось особенной роскоши, и в приёмной тоже. Так, два грустных фикуса, клеёная мебель, карта мира, ледяной мерцающий монитор и грустная секретарша.

— Гелечка, принимай, новый курьер! — не здороваясь крикнула Мишка и сдёрнула шапку. И тут же, чёрт побери, снова сделалась хороша — белые волосы взошли на её голове, как солнечные лучи, и Стёпка подумал невпопад — уж не влюбился ли он? Но нет, конечно же, он не умел влюбляться...

— Твой? — Гелечка лениво повернулась к ним на вертящемся своём стуле. Она была чёрненькая, светлоглазая, с клычками, как у акулы.

— И выдай ему пятёрку из праздничных, авансом, человек вчера освободился, — вместо ответа повелела Мишка, махнула им обоим на прощание и убежала прочь по коридору, на ходу выпутываясь из куртки.

— За что ты сидел? — Гелечка посмотрела Стёпке в глаза в упор — бледными, почти белыми, серебристыми глазами.

— Мента спустил с лестницы.

— Ого, — уважительно оценила Гелечка. Она порылась в ящиках, достала из конверта лососино-румяную пятёрку, вручила Стёпке, — расписку пиши!

¹ Это он (фр.).

Стёпка присел за отставленное в сторону «крыло» её стола, принялся писать: «Я, Малыга Степан Евгеньевич, получил аванс в размере...» Время от времени он поглядывал по сторонам — потолки в этом офисе были странные, кое-где сводами, как в русском тереме. Гелечка заметила его поглядывания.

— В этом доме раньше была конюшня. Князей Шаховских, — похвасталась она.

Стёпка огляделся вокруг уже без стеснения.

— И где конь стоял? Вот прямо здесь?

— Возможно.

В коридоре застучали шаги, явно большого человека. И большой человек вошёл — высокий, толстый бородач в костюме. Пиджак не сходил на нём и был расстёгнут, и дышал бородач тяжело, и глаза его, навывкате, с опущенными внешними уголками, были печальны.

— Моша, у меня совсем ничего не готово, — жалобно сказала бородачу Гелечка, и тот совсем увял. — Вот отправлю курьера, и я вся твоя, — кажется, она пыталась его утешить.

Моша пожал плечами, вздохнул с шумом, потопал прочь — шаг его долго бухал по коридору. «Странный офис, — подумал Стёпка, — все грустные, и все с ненормальными именами. Геля, Моша. Мишель Яновна».

— У вас есть работники с нормальными именами? — спросил он Гелечку. Та слегка опешила от такой непосредственности.

— Теперь вот есть — ты. А ты что, Степан Евгеньевич, дурачок?

— У меня синдром Аспергера, — соврал Стёпка, но потом прибавил правду: — И химеризм.

— А что — второе? — Про Аспергера Гелечка знала, смотрела «Теорию большого взрыва».

— Две группы крови в организме одновременно и, соответственно, две личности.

— И как они уживаются в тебе?

— Одна спит почти всегда, вот только сейчас проявилась, — Стёпка уже чувствовал, что его немного несёт. — Меня врачи не берутся лечить. «Мы таких больных не лечим, мы вас только изуедем». Не знают, как подступиться. Если случится аппендицит или какая другая операция — я просто умру.

— Ого, — повторила Гелечка, опять с интересом. Ресницы её, пластмассовые от туши, так раскрылись, что царапнули кожу под бровями. — «Случится аппендицит...» Ты сложно выражаешься, химерист Малыга с двумя личностями.

— А чем у вас фирма занимается?

— Бухучёт, аудит. Основные клиенты, будешь смеяться, колдуны — ИП Шахрай и ИП Муратов. Они так развернулись со своим колдовством, что налетели на обязательный аудит. По ООО-шкам, не по ИП, конечно. Ты как раз сейчас поедешь к Шахрай, отвезёшь ей доки по проверке. Знаешь Москву-то, сиделец, не потеряешься?

— Я москвич, — обиделся Стёпка.

— Ну отлично. Поедешь на Проспект Мира, локацию я скину.

— Мне некуда, у меня кнопочный...

— Ну, распечатаю, горе ты моё. Проездной купишь из подотчётных, чек не выбрасывай. Отдашь Шахрайше доки, потом обратно ко мне. Всё, утки, — на старт!

— Что? — не понял Стёпка.

— Мультфильм был, «Утиные истории», там говорили: «Утки — на старт».

«Как же я это богатство люблю и уважаю — с лебедями, с чучелами». Так Стёпка думал, поднимаясь по мраморным ступеням, и в зеркальном лифте стилия ар-деко, и перед резной, тоже до зеркального блеска заполированной дверью — в полировке отразился сам Стёпка, изрядно вытянутый.

— Курьер? — дверь открыл красавец с подбритыми висками, голый, в одном лишь полотенце на бёдрах. Смуглый, холёный, весь велюрово-гладкий, с играющими под бархатной кожей мышцами, как у породистого коня или пса — непременно гнедого.

— Ага, — согласился Стёпка.

Красавец смотрел мимо него и, кажется, вовсе не видел. А вот Стёпка, что забавно, этого красавца отлично знал — то был Марат, Муратов Иван Дмитриевич, девяносто первого года рождения. Статья сто пятьдесят девятая, часть вторая. Он и на централье был точно такой — вечно полуголый (жара стояла), лощёный, с выбритыми до синевы висками и с сощуренными глазами — близорук был. Этот Марат по профессии своей был альфонс, разводил по телефону стареющих дурочек. Злюка, дурак, картёжник, наркоман. Он Стёпку тогда, на централье, к счастью, в упор не видел, вот и сейчас не разглядел.

— Мамочка, к тебе курьер! — крикнул Марат куда-то в комнаты, и голос его затанцевал в потолках скромным эхом. И Стёпке: — В комнату иди, только разуйся.

Стёпка стряхнул с ног, не развязывая, великоватые ему кроссовки, и поплёлся в комнату, оттуда его уже звали:

— Мальчик, сюда!

Стёпка вошёл и увидел ИП Шахрай — тётку типажа «мечта отставника», в спортивном, она сидела верхом на тренажёре-велосипеде и лениво крутила педали. В комнате царил то ли запущенный ремонт, давно одолевший хозяев, то ли просто бардак. Коробки, мебель в чехлах, лампа вместо люстры.

— Давай! — Шахрай протянула руку со своего велосипедного трона.

— Я не мальчик, мне двадцать два, — Стёпка отдал ей папку. Всё в нём протестовало от такого амикошонства.

— Мальчик, — невозмутимо возразила Шахрай, не глядя на него, пролистывая папочное содержимое, — я же вижу, не ври.

Глаза у неё были подведены, как у египетских мумий: синим, и до висков. На толстухе такое смотрелось так себе.

— Я девственник, — сурово уточнил Стёпка, — но это не повод меня унижать. Даже если вы как ведьма это и отлично видите. Вы же не знаете моих обстоятельств.

В коридоре отчётливо взоржал подслушивавший Марат. Шахрай оторвалась от бумаг и свысока — с высоты же, — но и с интересом поглядела на Стёпку:

— Я могу тебе погадать. Пять тысяч.

— Да спасибо, не надо, — у Стёпки всего было столько, да ещё и минус проездной.

— Тогда иди, — отпустила его Шахрай с одновременно отбрасывающим жестом.

— Мамочка, ещё же к Обьедкову! — из коридора напомнил Марат.

— Съездишь ещё на Китай-город? — сказала Шахрай, в словах её присутствовал вопрос, но то был, несомненно, приказ. — Иваша, скинь ему локацию!

— Мне некуда скидывать, у меня кнопочный, — сознался Стёпка, выходит, соглашаясь и с Китай-городом, и с Обьедковым.

— Я ему нарисую, — посулил из коридора Марат, пришёл в комнату с ручкой в руке, и на одном из документов мгновенно начертил план-схему. — Вот, направо, направо, вверх по Солянке, в арку, по лесенке, и там он и сидит, на своём чиппендейловском стуле.

— На чём?

— Да увидишь. — Марат выпрямился, поправил на поясе полотенце и протянул Стёпке листок — так на него и не глядя, глядя в сторону и чуть вверх. — Давай, стартуй! Вот это отдашь.

И вложил, мгновенно и воровато, в руку Стёпке целлофановый, торпедочкой, свёрток. Эх. Стёпка мгновенно угадал, что это, к сожалению. Но, увы — растерялся, поддался обаянию момента. И взял.

До Китай-города Стёпка ехал в метро по прямой, а напротив него развалился на сиденье персонаж в костюме коровы. Таким, по типу мягкой пижамы. Какая-то дублёнка невразумительная была, конечно, сверху накинута на персонажа, но в общем и целом... Стёпка подумал — что сказал бы Бес про такого вот человека-корову?

И пришёл к выводу, что Бесу на всего этого типа, с рогами его и хвостом, хватило бы единственного слова — «неприемлемо». Бес вообще был краток в определениях, брезговал растрчивать себя.

Улицу Солянку едва-едва расчистили от снега, лёд кое-где лежал под ногами горбом. Так, то перепрыгивая, то перешагивая через снеговые препятствия, добрался Стёпка до искомого особнячка, позвонил в дверь. Его впустил даже не охранник, настоящий ливрейный швейцар.

— К Обьедкову? Второй этаж, прямо из лифта, — напутствовал он чуть опешившего Стёпку.

Было тут отчего опешить. Шахрайшина роскошь по сравнению со здешней была ничто. В холле, и в лифте, и на втором этаже царил стиль — настоящий, выверенный, не Шахрайшин новодельный непонятно какой эрзац. Колонны, фарфор, берлинская зелень и элегантная лепнина в духе фон Графа — позднее, увядающее барокко. На стенах висели настоящие картины — Стёпка, знакомый с искусством семидесятых, признал зомбических работяг Попкова и сомнамбулических мардариев и премардариев, как капля с ушами, Целкова. И в таких прихотливых барочных рамах висели они — что вздрогнешь.

Прямо по ходу от лифта манила распахнутая дверь, судя по всему, в приёмную. Стёпка бесшумно просочился бочком — здесь красота цвела ещё пуше, высились резные напольные часы с башенками и автоматоном. Мебель стояла не чиппендейловская, правда, а бидермейер. Но Стёпка не понял разницы, он не знал мебельных стилей, он просто опять проиграл в голове пассаж про «лебедя и чучела».

За столом — ножки стола были львиные, в форме буквы «икс» — сидел молодой человек, изящный, с ядовито-лняною чёлкой, с острыми ушками начинающего эльфа, и что-то сосредоточенно рисовал. Стёпка подкрался — медная табличка на столе перед юношей гласила: «Секретарь-референт Обьедков П.А.». Секретарь-референт старательно обводил на ватмане геральдическое древо, Стёпка рассмотрел немецкие фамилии, каждая помещалась в отдельном яблочке, писанная узким готическим шрифтом.

— А какое яблочко здесь вы? — не сдержался Стёпка. Что-то его вторая личность стала всё чаще себя проявлять.

— Это геральдическое древо Врангелей, а моя фамилия Обьедков, — юноша поднял на Стёпку дымно-синие глаза, — что мне, ничтожному, там делать? И — Вороронцев не принимает.

«Вороронцев Г.В.» — это написано было на другой табличке, на двери у референта за спиной, и далее — какие-то титулы.

— Мне не надо Вороронцева, я к вам, — сознался Стёпка. — Вот пакет от ИП Муратов.

И Стёпка церемонно выложил из рукава свою торпеду, прямиком на геральдическое древо.

— А-а... — референт не удивился и даже не обрадовался, просто взял торпеду кончиками острых пальцев. — Спасибо.

Стёпка внимательно на него смотрел. Этот Обьедков был узкий и длинный — вот он потянулся лениво в кожаном своём эргономическом кресле, будто говоря: «Гляди, каков!» — был он одет в пепельный костюм с подчеркнута зауженной талией. Он тянулся — и из ангельски белого манжета показала коготок прихотливая цветная татуировка. Белые волосы, лицо, словно нарочно прорисованное гримёром — всё с ним было ясно, с этим секретарём-референтом.

— А вы как секретарь и чай, и кофе подаёте? — спросил Стёпка, отчего-то зная, что этого — можно так спрашивать.

Обьедков, уже зачарованно игравший своей целлофановой игрушкой, как кот мышью, медленно её разрывая коготками, рассмеялся высоким, совсем мальчишеским смехом:

— И даже шоколадки подаю, — и глянул исподлобья, как кот. — Как тебя зовут, дитя моё?

— Стёпа.

— Так иди уже, Стёпа. Иди. Катись — к хуям.

И часы, как по заказу, пробили полдень — скрипуче запела шарманка и куколки-автоматоны пустились в пляс, забавно выламывая ручки-ножки. Стёпка поглядел на них, прыгающих, как блохи, да и пошёл — не туда, конечно, куда предлагал ему коварный референт, а в офис.

На Цветном, в общепите, голодный Стёпка немедленно купил резиновый, облитый кунжутными слёзками бургер и уже разинул было рот — кусить, как зазвонил телефон.

— Я, — сказал Стёпка в трубку.

— Ты, — согласился с ним Бес. — Слышишь меня?

Стёпка представил, как Бес стоит с телефоном в руке в сумрачной душной каптёрке, и жар от печной трубы шевелит волосы на щедро татуированных его плечах.

— Тут интерес был к тебе, — сказал Бес, — кое-кто пытался разузнать о тебе через тюрьму. Марат — знаешь такого?

— На центральной вместе сидели, — вздохнул Стёпка, понимая, что таки вляпался.

— Тут один у нас разбрехался о тебе, как ты один живёшь в Москве в двух комнатах. Я хотел было осечь, да не успел. Так что смотри, Марат этот — гнида, может и кинуть тебя.

— Ты и Марата знаешь? — впрочем, Стёпка верил в Беса, тот мог знать кого угодно, особенно из сидевших. В тюрьме все и всё друг про друга знали и имели мнение, и у каждого сидельца сложена была репутация — куда там наивному «соцсети высмеяли».

— Она на работе? — Бес не удостоил Стёпку ответом про Марата, спросил про интересное ему. Про Мишку.

— Не знаю, я с утра в разъездах, — смутился Стёпка.

— Вечером расскажешь, — почти с угрозой пообещал Бес.

Гелечка сдержанно обрадовалась Стёпиному возвращению. За спиной у секретарши маячил толстый Моша, при появлении Стёпки он, кажется, убрал руку с её плеча.

— Вечер в хату, часик в радость, чифир в сладость, — поприветствовал Стёпку Моша, и тот понял, что весть о его лихом прошлом уже разнеслась по фирме.

— Так, на самом деле, в тюрьме никто не говорит, — криво усмехнулся Стёпка. — Поменьше смотрите «Камеди клуб». А вы — владелец компании?

Стёпка знал, что Мишка не владелица компании точно, а кто владелец — не знал.

— Нет, всего лишь такой же наёмник, как вы или Геля, — отвечал изумлённый Моша. — Хозяин этой фирмы — господин Аненбург, он на Кипре. Для недавнего арестанта вы подозрительно борзы. Разве тюрьма не учит осмотрительности?

— Ещё как, — тут же согласился Стёпка. — А кто такой Обьедков?

— Референт Воронцова, — машинально ответили Моша и Гелечка хором. — А что?

Стёпка решил не признаваться, что помимо своих основных обязанностей он сегодня, кажется, ещё и выполнил миссию наркокурьера. Просто пожал плечами:

— Так, вспоминали при мне — фамилия смешная.

— Я же говорила тебе — что он ебобо, — сказала Моше Гелечка, кивая в сторону Стёпки.

— Я здесь, — напомнил Стёпка, — и всё слышу.

— Горе ты моё, — вздохнула Гелечка, — доки отдал?

— Отдал, — отчитался Стёпка, — что дальше делать?

Гелечка задумалась на мгновение, потом пододвинула к Стёпке стопку бумаг высотой сантиметров в двадцать:

— Всё это нужно вбить в один-эс. Давай, приступай!

Развернула перед ним на мониторе бухгалтерскую программу, пододвинула мышь и клавиатуру. Она думала, наверное, что Стёпка не справится, растеряется. Но Стёпка не растерялся. Он в своей жизни повидал вещи куда похуже, например, «точковку», тюремную бухгалтерию. Вот где за ошибку могли и голову расколоть. Тюрьма, и вправду, выучила Стёпку осмотрительности. Но и умению не бояться и не теряться.

Гелечка убедилась, что дело идёт, Стёпка работает аккуратно, быстро и ничего не портит. Она сперва следила за ним, затем переключилась на переписку в смартфоне, а потом и вовсе куда-то делась.

Стёпке скучно стало — Гелечки не было, подгонять его было некому. Он свернул бухгалтерскую программу и стал лазить по сетевым папкам. Нашёл одну: «Адреса, поездки», явно для курьера — на завтра стояло пять адресов. Раскопал макеты логотипов — ну, кракозябры! — и разведаль название фирмы — «Аудит-центр». Поискал фотографии с корпоративов, не нашёл — наверное, такой позор лежал под паролем. В Гелиной папке «Учебные материалы» обнаружился вордовский файл, в который Стёпка не мог не залезть. Как спидозник не смог бы пройти мимо файла «ВИЧ» или безногий мимо файла «ампутация». Текст назывался «Химера». Стёпка пробежал глазами по диагонали — и в тексте мелькнуло его собственное имя. «Ого!» Он оглянулся на дверь — Геля всё где-то гуляла — и принялся читать.

Это была, наверное, художественная книга, потому что после «Химеры» стояло ещё «1725. Нашатырь» — название первой главы.

Однажды вот так же, случайно, Стёпка нашёл у матери на принтере, в черновиках, сказки дервишей — мать печатала варианты диссертации на обратной, чистой стороне. Стёпка тогда прочитал все сказки до единой и не пожалел.

И сейчас он нырнул в текст, как купальщик в воду. Сперва потрогал ножкой — не холодно ли? И потом — бултых!

Химера

Ты будешь смотреть вслед её парусам,
Ты будешь дуть вслед её парусам,
Когда ты пойдёшь на дно

1725. Нашатырь

Звёзды в небе — прохуdivшаяся крыша мира или же — шляпа, простреленная навывлет. Россыпь алмазов (или — битого стекла?) на бархатном дне небесной шкатулки. Сочельник, на подлёте Рождество. В эту ночь девки ворожат на женихов и неведомое подходит близко-близко к бедным нашим жилищам, и тёмные гении пристально глядят — с небес ли? из бездны? — на грустную грешную землю. Одни из нас молят, чтоб не заметило, не разглядело их чёрное око, другие же просят, ждут, жаждают замеченными быть — да только на них не смотрят.

От света масляных фонарей снег на проспекте сукровично-розов. Нарядные санки, все из полукругов и гордых лебединых выгибов, невесомые, золотые, от лёгкости своей подпрыгивая, летят по снегу. Так и лисичка бежит по сугробам от охотников или навстречу чему-то, что дразнит её любопытство. Из тени в свет, в радужных ореолах, мимо петербургских ночных фасадов, призрачных, будто сонные ангельские личики, едва намеченные иконописцем над плечом у святого.

Сани, мерцая фонариками, звеня колокольцами, дымя печкой, промчали по улицам и стали у музеума. Был в Петербурге такой музей, покойный царь Пётр собрал в нём из разных стран, с целого света: трофеи, монстров, уродов, чучело слоновое и прочих диковин сорок сороков. Разместилась коллекция уникамов в доме казнённого боярина Кикина, в палатах, отнятых царём у семьи заговорщика.

Возница бросил поводья, отворил дверцу саней, и на снег, пружинисто оттолкнувшись от резной подножки, слетел пассажир, молодой и порывистый. Вот легко взбежал он по ступеням бывших Кикинских палат, цокоча каблуками, словно козлёнок копытцами, — да, был он молод, несмотря на солидную соболью шубу и суровую маску-бауту. (Многие персоны в столице прятали лица под такими масками, когда желали остаться неизвестными.) Вот он зябко повёл плечами под шубой своей и погромел дверной ручкой, сперва тихо, потом погромче, потом, в нетерпении, повернулся к двери спиной и несколько раз ударил каблуком — так, что массивные доски дрогнули и запели.

За дверью, в недрах музеума, родилась паника.

Трое сторожей — карла Фома, микроцефал Степан и шестипалый Яков, все в зелёной солдатской форме — уже сдвинули рождественские праздничные чаши и готовились вкусить нектар (спирт, сцеженный из банок с мёртвыми уникамами), когда парадная дверь затряслась и загрохотала.

— Он, — вздохнул сокрушённо Фома и поставил кружку обратно на столик — Фома крепко обхватывал её двумя пальцами-клешнями, — нет ему покоя.

— Так сочельник, вся нечисть на землю стремится, — Яков попрятал посуду и поплёлся открывать. Коротышка Степан только хлопал глазами — из-за слабого ума бедняга не осознал, ни кто явился, ни зачем — понял лишь, что пить пока нельзя.

— Милости прошу, ваш-благородие, — Яков распахнул дверь, и нарядный господин впорхнул в музей — лёгкая морозная фея — в сопровождении позёмки и ледяного сквозняка.

Яков прикрыл за ним створку. Гость оглядел сторожей и спросил тихо и внятно по-русски, но с сильным немецким акцентом:

— А где ваш гермафродит? Иди андрогин — тот, что Сашка?

— Убёг, — похвастал общительный Фома, — или убёгла. Скушно им с нами стало.

Четвёртый их сторож, существо двуполое, и в самом деле из музея недавно сбежало — то ли вправду соскучилось, то ли нашло своё счастье.

— Зажги мне свечи, карапет, — велел гость Фоме, — и проводи до двери.

Фома ловко возжёг на подсвечнике три свечи и увёл ночного визитёра с собою. Тот важно шествовал среди банок и чучел, не глядя на уродов, минуя чучело слоновое. Раскрытые полы шубы равнодушным нежным порхающим мехом щекотали страшные и диковинные экспонаты.

Фома посветил — и гость открыл собственным ключом низкую потайную дверку, забрал у сторожа подсвечник и вошёл. Ему почти голову наклонять не пришлось, перья шляпы лишь чуть тронули притолоку.

Дверка за гостем захлопнулась, и Фома поспешил к товарищам.

— Что, нашёл? — Яков достал спрятанную кружку. — Будем, братцы.

Чаши наконец-то сдвинулись, звякнули, глупый Степан отхлебнул и спросил:

— А кто это был-то?

— Кавалер, — скупое ответил Яков.

— Это Демон, — пояснил дружелюбный Фома, — кавалер казнённый, Демон; как сочельник или просто луна растёт — он приходит, ищет свою голову.

— Так у него голова — на плечах, — не понял Степан.

— Значит, она — не его, — ответ Якова был краток.

— А ему своя надобна, — прибавил Фома.

Издали, из тайной комнатки, послышался грохот. Что-то тяжкое пало на пол и, биясь, покатилося.

— Неужели приставил? — изумился Фома, и все трое опустили кружки и наперегонки бросились — смотреть, как кавалер приставил себе свою настоящую голову.

Увы, если кавалер и пытался, — попытка его не увенчалась успехом.

Подсвечник стоял на столе, озаряя банки с двумя заспиртованными головами — мужской и женской. Головы плавали в спирте лицами вверх, лёжа на затылках, как спящие, — и страшные круглые срезы с посечёнными костями и жилками были у них отчётливо видны. Женская голова, темноволосая, с плачущими глазами, принадлежала красавице Маше Гамильтон. Казнена была Маша без вины царём Петром в пароксизме презлобства в год смерти Шишечки, трёхлетнего мальчика-наследника (девятнадцатый грустный год).

А вторая голова была та самая, кавалерская. Странно, конечно, что гость её себе хотел: кавалерская голова была без глаз и поклёвана птицами. Хоть и посейчас заметно было, конечно, что при жизни — казнённый был замечательный красавец. Льяные волосы оплетали голову, как водоросли русалку, пряча увечья, склёванные глаза прикрыты были, как у спящего, и обведённые кармином губы сложены то ли капризно, то ли насмешливо.

Нарядный гость валялся на полу, перед столом с головами.

В распахнутой шубе, с Авессаломовым ореолом из чёрных локонов — шляпа откатилась далеко в угол — господин пребывал в глубоком обмороке. Белая шея его в разорванном галстуке вывернута была, будто сломанная, и коготки, острые, кошачьи, наточенные, жалко царапались по полу, запутанные в длинном придворном кружеве.

— Падучая, — понимающе вздохнул Фома, — плохо барину. Видишь, Стёпка, у него своя головизна чёрная, а он — всё белую себе хочет, — поведал Фома товарищу секрет кавалерских голов. — Давайте, братцы, подымайте, отнесём его.

Яков и Степан подхватили кавалера с пола, как переломанную куклу, — он и был что твоя куколка: лёгкий и хрупкий, на шарнирных суставчиках, разве что шуба трудно волочилась за ним — соболя, тяжеленная. Фома подобрал пушистенюкую нарядную шляпу, взял подсвечник и ловко своими клешнями затворил потайную дверь на ключик — а ключик вернул кавалеру в его карман.

Пока гостя тащили среди банок и мимо чучела слонового — кровь пошла у него носом, полилась из-под маски, перепачкав шею и надорванный галстук. То ли барин ударился, когда падал, то ли и прежде был он нездоров.

Фома распахнул обе парадные створки на улицу — санный возок ждал хозяина.

Кучер открыл дверцу и помог погрузить бесчувственную ношу, заодно и подтёр собственной жёсткой варежкой барину кровь. Сердобольный Фома сунул обморочному кавалеру под масочный баутин нос тряпку, щедро смочённую нашатырём. Нашатырь у Фомы всегда за пазухой лежал наготове — для чувствительных музейных гостей. Кавалер передёрнулся, ресницы дрогнули, щекоча баутины прорези, — значит, жив. Фома надел на гостя его шляпу, почти не помятую, и нашатырь от носа убрал. Захлопнул дверцу.

— Бывайте, ваш-благородие! — хором прокричали сторожа вослед удаляющимся саням и пошли в тепло, к своим кружкам.

Сани катились по тёмным улицам. От лёгкости собственной взлетая на ухабах, в дыму от печки, в радужном славном сиянии масляных фонариков. Звёзды спрятались, набежали тучи, и из туч посыпался хлопьями нежный, сочельничий снег.

Кавалер в санях открыл глаза, снял маску и обтёр измазанное чёрной кровью лицо тонким кружевным платком. Стянул перчатку и приложил к стеклу тёплую руку, чтобы протаяло и можно стало смотреть. Видно сделалось в проталинке — как сходят

на землю белый снег и бесконечный холод, и непонятные силы, таинственные и необъяснимые, в какие верить серьёзно и искренне — die Schande, позор для образованного человека.

Дядя Стёпа

Гелечка, утренне-сонная и ещё более грустная, чем вчера, выложила было перед Стёпкой распечатку пяти маршрутов (именно их он вчера и подглядел), но потом спохватилась.

— Давай-ка я тебя с коллективом познакомлю.

— С начальством? — тут же уточнил Стёпка.

— Я твоё начальство, смирись, — мрачно ответила Гелечка.

А ведь это было важно — кто начальство, раз Стёпка собирался отпроситься сегодня к маме в колумбарий. И пораньше, пока кладбище работает. «Ладно, потом, — подумал он. — У неё и отпрошусь, пусть уж представляет — коллективу». И покорно пошёл за Гелей в обход по комнатам, как сурок за савояром.

В первой комнате сидела женщина, рыжая, кудрявая, как барашек, и с ног до головы в шотландском. У неё было некрасивое, но «дорогое» лицо — с чертами, заново перерисованными пластическим хирургом так, что нечитаемы сделались прежние, природные. Губы, брови, скулы были именно такие, как «надо», а вместе выходила отчего-то фигня.

— Татьяна, — представила её Гелечка, — наш главный бухгалтер. А это — новый курьер, Степан.

— Стё-опушка, — протянула главбушка, будто корову звала. Степан подумал, что Татьяна — нормальное имя на общем-то фоне (Геля, и Моша, и Мишель Яновна).

Во второй комнате сидела, собственно, Мишель Яновна и болтала по телефону — они сунули нос и не стали заходить.

В третьей было пять или шесть толстых девиц — бухгалтерия, — Гелечка их всех назвала, и Стёпка никого не запомнил. Но эти-то были с обычными именами.

— А, вот ты где, дядя Стёпа! — в бухгалтерию просунулся Моша, всё в том же своём незастёгивающемся пиджаке.

Это было обидно — дядя Стёпа. Милиционер...

— А я к вам, дамы, с объявлением, — начал было Моша.

— Стёпа, это Моисей Львович, наш генеральный директор, — перебила его Гелечка, ладошкой указуя для наглядности, но Моша тотчас же перебил её:

— А вот и нет!

— Что — нет? — хором переспросили Стёпка и Гелечка. Бухгалтерия молчала, только любопытно тянула шеи.

— Больше не генеральный директор, — провозгласил Моша, то бишь Моисей Львович, очень торжественно.

Моша вкатился в кабинет весь, вплыл, как рыба-луна. Стёпка почувал его нервическую дрожь — просто горячее облако. Вот точно такое облако материализовалось однажды возле Беса в каптёрке, когда он спорил со смотрящим за общим Адамом. Этот Адам тогда проворовался, опозорился с точковкой, и Бес его поймал, сперва ругал сиплым неслышным шёпотом, а потом облако встало над ними вот таким же жар-паром, горячее облако гнева и страха — и Бес ударил Адама лавкой. Кого мог бы ударить здесь лавкой Моша?

Вслед за Мошей в комнату впорхнула и Мишель Яновна, сегодня она была в балетной пачке и в мартенсах, как такая, пожившая, фея.

— Девушки, — объявила Мишель Яновна, и тоже торжественно: — Моисей Львович от нас уходит. Сегодня его последний день. А я, к сожалению, с завтрашнего

дня стану вместо него — и-о, — эти последние «и-о» Мишка пропела с трагической ясностью, видно было, что ничуть она им не рада. — Жалко, конечно...

— Жалко... — наперебой потянули и девочки, и все отчего-то разом уставились на Гелечку: — А отчего он уходит? Из-за чего?

— Не из-за чего, — чётко выговорил Моша, тоже глядя на Гелечку. — Из-за кого. Из-за кого.

Тут Гелечка пискнула, толкнула Стёпку, преграждавшего ей дорогу, и с топотом, лбом вперёд — кинулась вон. Стёпка только и видел, как пролетел мимо него душистый веретенообразный смерч.

— Это было жестоко, — сказал он Моше без осуждения, и потом — девочкам, всем, поворачивая голову по кругу: — Приятно было познакомиться.

И вышел вслед за Гелечкой, потому что та явно понеслась реветь — надо же было успокаивать. И, выходя, Стёпка увидал краем глаза, что Мишка следит за ним с интересом.

Приехал наёмный курьер, и Стёпка выдал ему задания — для всех пяти адресов.

Стёпка не очень понял, что именно делает секретарь, и подозревал, что по большей части — ничего. Он сам был у Беса чем-то вроде секретаря, помогал с тюремной бухгалтерией, готовил, ну и стирал... Увы, нет, был он, Стёпка, всё-таки чем-то вроде слуги. Да и ладно...

Он разобрал документы, часть впечатал в открытую ещё Гелечкой таблицу. Записал телефон — и Стёпка переключил звонящего на Мишель Яновну. Покрутился на стуле, подумал, не почитать ли в Гелечкиных «Учебных материалах» ту книгу, про кунсткамеру, если Гелечка, конечно, её не удалила.

— Здорово, Яшка!

Стёпка поднял глаза на вошедшего — и вспомнил, что он таки вляпался. На пороге стоял Марат, он же ИП Муратов, в плоской кепке и в пальто с рисунком «гусиная лапка». Пальто было распахнуто и узко ему в плечах.

— Я Степан, — возразил Стёпка тихо и сдержанно. Грубить он не стал. Всё-таки ИП Муратов был основным клиентом на его новой работе. Кормилец.

— Да, мне сказали уже, — рассмеялся Марат, зубы у него были теперь фарфоровые, белые в голубизну. — А что придурился на центральной?

— Сопор, мутизм. Кикоз, — Стёпка демонстративно переложил на столе бумаги. — Вам кого-нибудь пригласить? Или вы лично ко мне?

— Я к Кирневич-Мурзе, — уже расхохотался Марат, аж придержав в смехе рукой свою плоскую кепку.

«Это Мишка, — вспомнил Стёпка, — она Кирневич-Мурза. Ох...»

Плохо было и то, что Марат его узнал. Но ещё хуже — что он пришёл к Мишке, — Беса разорвало бы надвое от такой новости. Марат был жиголо, альфонс, разводчик, охотник, не оставляющий подранков, убивающий дичь метким выстрелом в глаз. Бессовестный, хитрющий, подлый. Каждый день на центральной Стёпка слушал, как когтит он в соцсетях очередную жертвочку и потом высасывает её, как кость, и в телефон урчит, разгрызая: «Зая, зая, зая...»

Хотя, вдруг он пришёл по работе?

— Вы на самом деле колдун? — спросил Стёпка. — Или притворяетесь ради денег?

— Наглый нынче секретарь пошёл, — Марат приблизился к столу, вея полами пальто, отодвинул бумаги и присел на край, качнув ногой, — но симпатишный. У тебя, Яша, говорят, комната на Арбате стоит на сдачу?

— Я Степан, — напомнил Стёпка.

— Ладно. Так сдашь мне комнату?

— А вы правда колдун?

Марат посмотрел на Стёпку очень внимательно. У него глаза были, как полированное дерево или как у большой собаки, карие, с мягкими бликами. Незлые.

И волосы на висках и на подбородке были подбриты по одной длине, переливались, как муаровая тень. Пахло от него шоколадным табаком, и весь он был, как шоколадный заяц, но здоровенный, два на два.

— Я такой же колдун, как ты или твой Бес, — сказал он весело. — У меня резюме висело на «хэдхантере», и вместо «кладовщик» написано было «колдовщик». Ну, опечатка. И фотка, конечно, была. Ну, Шахрайша, мамочка моя, увидела фотку и этого «колдовщика», ну, и позвонила мне.

— И заверте... — продолжил Стёпка, из Аверченко.

— Чё? А, ага. Понеслося. И я теперь тоже ИП, на меня часть оборотов ложат. Во-от, Яша, то бишь Стёпа. А комната мне очень нужна, у меня сейчас ощущение, что Шахрайша, мамочка моя, у меня всё время жопой на лице сидит и не слазит. А дышать-то хочется.

— Пятьдесят, — озвучил Стёпка цену за комнату. — Завтра могу показать.

Марат замер, раздумывая. Стёпа снял трубку, набрал внутренний Мишкин:

— Мишель Яновна, к вам ИП Муратов. Пускать?

Марат опять рассмеялся, облизывая зубы.

— Пускать! — разрешила Мишка.

— Кирневич-Мурза ожидают, — объявил Стёпка Марату. — Я провожу.

Тот стянул с головы кепку, провёл пятернёй по велюровым гнедым волосам — как-никак собрался к даме.

— Полтинник так полтинник, — согласился он с ценой. — Ладно, завтра зазырим твои хоромы. Ну, веди!

Стёпка проводил гостя до Мишкиной двери и замер, прислушиваясь, — о чём они будут говорить? Речь пошла про отписной аудит, потом отчего-то про Ла Вея, как тот дрессировал крупных хищников. Потом Мишка сказала:

— Душно, — и прогрохотала мартенсами до двери, приоткрыть. Стёпка едва успел отпрыгнуть.

Он вернулся на место. Было непонятно — пришёл Марат к Мишке как к юристу или как альфонс. Может, Шахрайша ему наскучила и он желал сменить хозяйку? Что Бесу-то говорить?

Телефон пискнул, и Стёпка соединил с бухгалтерией. Поискал Гелечкину книгу — нет, Гелечка её не удалила. Вторая глава была датирована двенадцатью годами раньше первой, «1713», и называлась «Амбра». Стёпка на нервной почве стал читать её, попутно думая, что же сказать Бесу.

1713. Амбра

«Я продулся, проигрался, пропал. Дела мои запутались окончательно. Папи забирает меня к себе, пока не расплетётся гордиев наш узел, и ты скоро увидишь, увы, того, кого ни видеть, ни слышать уже три года не желаешь. А я эти три года скучал по тебе смертельно, всё глядел в окно на дорогу — нет ли кареты твоей? И сейчас, в петербургском папином доме, стану слушать без надежды — не звякнет ли во дворе колокольчик. Прощай же, до встречи, — будет она или же нет?

Любящий тебя бесконечно, безмерно, до седьмого неба китайских богов, твой и только твой Р.»

В новую столицу, город Петера, возок вкатился уже на ночь глядя. Братья-бароны и Кейтель не без страха смотрели на недостроенные дома и неизбежных спутников русского градосооружения — разруху и хаос. В темноте строительные усилия императора Петра были едва видны в оконные проталинки, и оттого казались ещё страшнее.

— Чаша горькая нас ожидает, — предрёк Казик.

Рене и камердинер не ответили — по пути их растрясло так, что отнялся язык.

Кучер немного поплутал по тёмным разрытым улицам и, наконец, отыскал дом, что арендовал Герхард Лёвенвольд, — дом был купеческий, деревянный, но просторный и достойный. Не чета, конечно, их рижскому каменному дому.

Карета въехала во двор, взлаяли собаки, слуги с фонарями побежали с крыльца — встречать. Казик выбрался из кареты, пошатываясь от усталости. Отец спустился к нему от дверей и раскрыл объятия — круглый и крепенький, как грибок, он был на полголовы ниже сына. Кейтель выполз из кареты, держась за бока и причитая, и сел бы в снег — не подхвати его под руки дворня.

Рене, завёрнутый в пушистую шубу, сидел в карете и смотрел злыми глазами, словно пойманный волчонок, — встать Рене не мог, в пути у него онемели ноги. Казалось, все о нём забыли. Но вот из дома вышел ещё один человек — высоченный беловолосый молодчик, оглядел приехавших и в три шага оказался возле кареты.

— О, моя Смерть! — обрадовался Рене, и весь подался к нему. Белокурый гигант подхватил мальчика на руки, словно пушинку, и внёс в дом. А Рене обнимал его за шею. Имя гувернёра молодых Лёвенвольдов и в самом деле было *Deses*, что по-французски и значит — Смерть.

За промёрзшими снежным пухом оконными стёклами лихорадочно и тревожно заплесал свет дорожного фонаря, и со двора раздался жалобный звон бубенцов — прилетели ещё одни сани, нарядные, высокие и лёгкие, словно комарик-карамора.

— Гасси! — отец глянул в окно и тотчас узнал, чья карета.

Десэ встал с козетки и текуче — необычайно шустро для его комплекции — выскользнул из комнаты.

На пороге гостиной явились двое — и захолустным рижским юношам эти двое почудились высшими божественными существами, ангелами или даже архангелами, серафимами, керубами — ну, теми, что парят в раю возле самого господнего трона.

Два офицера в длинных плащах, подбитых влажно блестящим бобровым мехом, и под плащами у обоих — молочно-белые адъютантские мундиры, мерцающие, как спрятанное сокровище, и драгоценные аспиды генеральских портупей, и длинные шпаги, и под мышкой — пуховые нежнейшие шляпы... Рене даже подскочил на своей горбатой козетке — так его взволновали прекрасные гости. Два генерал-адъютанта русского кесаря Петера, новью, нововыпеченные его русинские варварские аристократы, осыпанные милостями и бриллиантами, закутанные в дорогие меха — да вот же ради чего, ради какой фортуны стоило ехать сюда, в эту новенькую, строенную-недостроенную русскую столицу — из столицы старой, глухой и дряхлой.

— Уж простите, папи, что мы к вам совсем ненадолго, — первый из вошедших с насмешливой грацией поклонился хозяину дома. — Я только взгляну на наших оболтусов — и, увы, мы сбежим от вас прочь, ведь нас ожидают дамы. Мне не терпелось увидеть, что мальчишки, наконец-то, до нас добрались.

Отец добродушно его извинил, только чопорный Казик завистливо скривился на «ожидающих дам».

Амоклауфер — Неистовый — Гасси, Карл Густав Лёвенвольд — вот кем был этот первый, ценитель дамского общества. Старший из трёх братьев, красивый и надменный, оживший римский патрицианский портрет, но в переплетённых горгоньих змеях лаково-тёмных локонов. Париков Гасси не признавал. Он был более груб, чем кокетлив, скор был на гнев и на громкий смех, бретёр и шпион, отравитель, соблазнитель, кесаря Петера личный порученец — собственный отец с недавних пор обращался к Гасси с осторожностью.

— Казик, дитя моё! — Гасси заключил в объятия среднего брата, и полы плаща колыхнулись, а перевязь звякнула. — Ты холодный, как ледяная статуя! А где же наш малыш, наше картовое недоразумение?

Рене легко поднялся с козетки — словно не он только что умирал на ней от усталости, — сделал к брату несколько невесомых шагов, и чулки его заскользили по дощатому полу. Злая гримаска вернулась на лицо Рене:

— Я здесь, Гасси.

— Привет, Рене, — Гасси не стал его обнимать, но сказал с ехидной усмешкой: — Если бы ты был норвежским воином, Рене, — в Вальхалле ты получил бы имя Ни Выстрела Мимо. Я наслышан о твоих рижских подвигах.

Рене надулся, а Гасси продолжил:

— Разрешите представить вам моего приятеля, Виллима де Монэ. Вилли, это мои братья Рене и Казик, с отцом ты знаком. Виллим Иванович — генерал-адъютант Его Величества, о чём, впрочем, так и кричит его адъютантский мундир.

Скромный Виллим Иванович вышел на свет божий и склонил светлую голову в изящном поклоне. Казик завистливо ел его глазами, а Рене тотчас сделалось стыдно за себя — лохматого с дороги и торчащего посреди комнаты без обуви, в позорных шерстяных чулках. Рене дёрнулся было сбежать обратно на козетку, но Гасси удержал его за плечо — жёсткими цепкими пальцами:

— погоди, Рейнгольд. Помнишь, Вилли, я говорил тебе — как вы похожи с моим младшим братишкой. Рене, правда, растрёпан и не покрашен, но немного фантазии — и ты увидишь, что же такое я находил в тебе всё это время. Отчего я был так на тебе помешан.

— Мне кажется, это всего лишь фантазия, Гасси, — возразил отец с осторожным недовольством.

— Разве? — Гасси обнял за плечи — одной рукой недоумевающего Рене, другой — смущённого великолепного Виллима Ивановича — и подвёл обоих к зеркалу, и отошёл — чтобы не портить парного портрета.

В зеркале отразились две физиономии — почти детское личико Рене с бархатными глазищами и нелепыми усиками, и бело-золотой ангельский лик Виллима Ивановича, с красиво очерченным подбородком, бровями, словно недоумевающими, и мучительно-дымно-синими глазами. И да, тоже с нелепыми модными усиками. И если приглядеться — они и вправду были как разлучённые близнецы, только разной масти. Schneeweißchen und Rosenrot из старой немецкой сказки. Похожие и столь же — разные.

Рене и прекрасный Виллим Иванович быстро переглянулись, и Рене спросил, в самом деле слегка картавя:

— Правда ли, что Его Величество зовёт всех своих адъютантов — *min bruder*?

— Это так, а знаешь ли — почему? — лукаво отвечал ему Виллим Иванович вопросом на вопрос.

Белая амбра — так пахнут очень светлые блондины или блондинки, то их собственный пьянящий и сладкий запах, Рене знал. Ещё по Риге помнил... Аромат амбры, терпкий, тревожный, окружил, обступил Рене, заморочил голову так, что она закружилась...

— Вилли, нам пора, — вскинулся вдруг Гасси, и почти грубо подхватил товарища под локоть, и увлёк за собою, не попрощавшись, — в коридор, в прихожую, в лёгкие санки.

Бубенцы брякнули, всхлипнули жалобно, и санки — умчались.

— Ох, Гасси, грешный наш ангел... — с притворной горечью, с облегчением вздохнул отец. — Пойдём, Казик, я отведу тебя в твою комнату. А тебя, Рене, — проводит Десэ.

Рене пожал плечами. Любимым сыном был он у матери, но не у отца. Рене встал коленями на козетку, прислонился к стеклу — лбом и носом. Опустевший двор исполосован был санными следами, словно спина каторжника после ударов кнута.

— Идём, малыш, спать, — Десэ возник за его спиной — и отразился в протаявшем чёрном стекле.

— Десэ, отчего это царь зовёт своих адъютантов — *min bruder*? — спросил его Рене.

Десэ отвечал, как и подобает учителю, — спокойно, отчётливо и разумно:

— Оттого, дитя моё, что брудершафт. Знаешь ли ты такую древнюю рыцарскую традицию? Пили, целовались — вот все и сделались братьями.

Эта девушка

Книга, особенно главный герой её, оставили у Стёпки такое же впечатление, как часы в тюремной КДС. Вроде бы на первый взгляд всё прилично, часы и часы, гирьки там, знаки зодиака, астрономический круг... Но какое-то каждый же раз просыпалось при взгляде на те часы — томление, мучение, эротическое ожидание. Сладость и мука приподнимали голову в нём, и словно в груди шевелилась змея. А может, с часами и с героем было всё то, а именно с самим Стёпкой было не то? Доля девственника, доля ангела, гордая и злосчастная.

— Ты здесь? — удивилась Мишка. — Все в шесть сбегают, ни минуты не ждут, а ты сидишь. — И предложила: — Хочешь, поедем ко мне, хоть поешь по-человечески, домашнего. Иван, — это было про Марата, — нас подбросит, а то моя малышка в обед не завелась. К нотариусу на такси гоняла.

— Иван Дмитриевич тоже желает поесть домашнего? — ревниво уточнил Стёпка, думая при том: «Как же Бес, что я теперь — ему-то?»

Марат хищно рассмеялся:

— Да ты у нас наглец!

А Мишка сказала:

— Не вредничай, Стёпа, на всех хватит.

Квартира у Мишки была в «сталинке», на Кутузовском. «На первой линии», как говаривал чёрный риэлтор Плюс с тверского централа.

Здесь не было роскоши и нуворишского выпендрёжа, казалось, Мишкино жилище застыло раз и навсегда, как муха в янтаре, в эстетике опасливого, лаконически-сдержанного сталинского ампира, в вязком яде пятьдесят третьего года, и в прихожей даже примерещился призрачный чемоданчик арестанта, в котором — «мыло, ложка и одеяло». Пах навощённый паркет, и вился плющ-мужегон — по растресканной ореховой мебели, по мутным выпуклым овальным портретам. И в окне столовой — да, у Мишки была столовая — в широкоглазом, высоком, на квадраты расчерченном окне истекала кровью стоп-сигналов вскрытая вена Кутузовского проспекта.

— У нас утка по-пекински, мы с Лёкой никак её не осилим, — Мишка говорила как будто оправдываясь, расставляя на овальном столе, на льняной скатерти, золотом тронутые прозрачные тарелки. — Заказали вчера в ресторане на свою голову, из любопытства. А она оказалась огро-омная, килограмма три.

Она ушла на кухню за той самой уткой, а Стёпка скосил глаз на Марата. Тот сидел, как и сам Стёпка, на стуле поистине средневековой жёсткости, высокая спинка такого стула обязывала к идеальной осанке. У Марата были и осанка, и слепящая альфонсовская краса, холёная, роковая — чего-то он тут хотел, чего искал? Марат привёз их на чёрном огнедышащем хаммере, но пышащем кроме огня ещё и дурновкусием и наследием девяностых — он же эстетически не годился ни Мишке в пару, ни этому дом. А Бес — годился ли? Как знать, Стёпка уже и не знал.

Мишка внесла обещанную утку на блюде, нарезанную, в лепестках рисовых лепёшек:

— Налетай, ребята!

И Стёпка принялся есть, стараясь не сильно свинячить. Подметил, что Шахрайша так себе выдрессировала питомца: Марат запутался в лепёшках, смутился, замер, не зная, как дальше. Мишка его научила. Она не ела почти, глядела в окно — как ползут и ползут огоньки, мерцающая и тая. Быть может, гости призваны были отвлечь её от чего-то, от каких-то мыслей.

— Мам, привет! И всем привет!

Дверь клацнула, ударила, звякнула, каблуки в коридоре пробарабанили шамаду — как удары сердца. И на пороге столовой встала такая девушка!

— Лёка, желаешь есть? — спросила её Мишка и потом представила: — Моя дочь, Лилит. Лёка — это домашнее.

Лилит-Лёке было лет пятнадцать-шестнадцать, но возраст как-то терялся из-за грозной и явной красоты, и ещё — она была высокая. Тонкая, в пышной шубке. Брови, ресницы, легчайший скелет, кудри, как лепестки гиацинта. На этих завитках даже, кажется, написано было «ай-ай». И глаза у девочки были словно снятые с Бесова лица — как у собаки хаски, как спиртовое пламя, со злющим прищелом зрачка. «Вы, сударь, камень, сударь, лёд». Стёпка мог даже ничего и не спрашивать. Да и альфонс Марат — ура! — увидел её и явно поник.

— Не, жрать не желаю! — крикнула в комнату Лёка, сбрасывая в прихожей шубку и ботиночки. Пробежала в столовую, Мишка лишь бессильно ей напомнила:

— Тапки!

Лёка упала на кожаный горбатый диван — поперёк, наискосок, скрестив длинные ноги в носках с чёрными пятками:

— Маам, а напомни, плиз, Вийон победил-таки на состязании в Блуа? Или проиграл?

Мишка задумалась, отложила вилку. Лёка пробежала взглядом по Стёпке — не видя, — и дальше, по Марату, и зло затрепетала ноздрями. Он явно был ей неприятен.

Мишка сказала:

— Вийон победил. Что-то же должно быть и у него в жизни хорошее. А тебе, Лёка, не пора — за уроки?

— В пень уроки! — бодро отозвалась с дивана Лёка, и воронье спирали взвились, заплясали. — Сегодня звонили — мне дали роль Доротеи в детстве.

— Доротея в детстве — это же не главная роль, наверное? — осторожно спросила Мишка, она как будто опасалась своего домашнего прекрасного тирана. — Она же не отменяет уроки?

— Логично, что не главная, — мрачно согласилась Лёка. — Главная — Доротея *не* в детстве.

Ей не хотелось за уроки, хотелось сидеть с гостями. Но Марат, тяготясь и Лёкой, и вдруг разлившимся в атмосфере любовью и семейностью, сказал:

— Я, наверное, поеду. Простите, Мишель Яновна.

— Я думала, ты мне поможешь, — вдруг растерялась Мишка. Она явно опешила, что он вот так уходит, явно чего-то ждала.

Это было мгновенно — любовь и семейность осыпались прахом, и Лёка вдруг почернела лицом, черты её сделались острыми и злыми. Но она ничего не сказала, только Стёпка совсем растерялся.

Марат согласно и покорно кивнул:

— Конечно же, идёмте.

— Извините нас, — быстро сказала Мишка, и они с Маратом встали из-за стола и вышли вон.

— Давай уберём объедки, — предложила Стёпке Лёка и прыжком, рывком села на диване. — Тебя как зовут?

— Степан. Давай... те.

— Без «те», — разрешила Лёка, — мне шестнадцать, я ребёнок, хоть и очень высокая.

— А что это они? — спросил Стёпка и кивнул на дверь. Он до сих пор пребывал в недоумении, отчего Мишка и Марат вдруг так быстро и дружно ушли, куда, зачем? Лёка, похоже, знала ответ, но не спешила делиться секретом:

— Много будешь знать, плохо будешь спать, — сказала она зло. — Бери утку, а я понесу тарелки. И айда на кухню.

Стёпка взял то, что осталось от утки — а осталось ещё ого-го, — и поплёлся за Лёкой по длинному сумрачному коридору. В коридоре на стене висел телефон и стояли приклонённые санки. Эти санки Стёпка и принял сперва, сослепу, за арестантский чемодан. И плющ-мужегон вился и вился по всем стенам, превращая коридор в джунгли.

На кухне — маленькой, длинной, без стола и стульев — Лёка плюхнула тарелки в раковину, забрала у Стёпки блюдо с уткой и вдвинула в холодильник. Потом с ногами уселась на подоконник, силуэтом на фоне окна, как паучок. Света она не зажгла. За окном кровью текли и текли огни.

— Ты куришь? — спросила Лёка.

— Нет, уже нет.

— И я нет. А иногда надо, — сказала Лёка с сожалением. — Иногда такое настроение, что только курить. Вот ты смотрел «Малхолланд-драйв»?

— Два раза на централье, — признался Стёпка. — В первый раз ни фига не понял, пришлось пересмотреть.

— Так ты тюремщик! Как папаша... А я — актриса. Помнишь, там есть сцена — режиссёр размышляет, какую актрису взять на роль, и тут к нему подходят два громилы, тычут фото в нос — «эта девушка»? И он «эту девушку» и берёт на роль.

— Доротеи в детстве.

— Ага. — На окне в баночке рос лук, Лёка оторвала перо и принялась грызть вместо сигареты. — Это очень обидно. Даже не главную роль — и то папаша мне выбил. Хочешь чаю?

Стёпка хотел.

Лёка снялась с подоконника, зажгла свет, зло ударила по клавише, включая чайник. Раскрыла шкаф, достала чашки, пакетики, сахар. На полке над сахаром стояли коробки с лекарствами: «элпида», «трувада». Стёпка хотел спросить, чьи, но стерпел. Сам додумал.

— Я считал, что все актёры попали в актёры по знакомству, — сказал он утешительно. — И вы не исключение, а скорее правило.

— Ты, — поправила Лёка. — И нет. Есть самородки. Со мной был в эпизодах такой — Петя Лорен.

— Ка-ак?! — удивился и рассмеялся Стёпка.

— Та-ак, Лорен, как Лотарингия. Псевдоним, конечно, его наш режиссёр на Фемаут высмотрел. Красавчик, тупица — но в нашем фильме играл на разрыв аорты. Он Платошу Зубова играл — как же здорово! — его даже просили: Петичка, сбавь газку, за тобой никого не видно. Он выходил с двумя словами — и всё сразу делалось ясно, что у остальных игра — клюква, и липа, и репа. У него даже лицо менялось, было два разных дядьки — в гриме и без, и даже, казалось, они и между собой не очень-то были знакомы.

— Прославился?

— Да не. Там, в том фильме, режиссёр приглашал в эпизоды настоящих чиновников, на роли князей и графов. Они у него фигурили в аксельбантах на балу. Чтобы, если фильм вздумают запретить, — чиновники вступились, там было несколько сомнительных моментов. Зубов этот, и ещё конь... И вот, один из этих, в аксельбантах, его и оценил. И взял себе.

— А как его на самом деле звали? — спросил Стёпка, о чём-то смутно догадываясь.

— Лорена-то? Очень смешно — Обьедков.

Ростислав Ярцев

Теперь он минерал

* * *

Привет из жизни прошлой
он сам себе послал.
Он был ржаною крошкой.
Теперь он минерал.

— Назавтра станешь светом
и радиоволной.
— Не говори об этом.
Ещё побудь со мной.

Восемь песенок

I

птичьей пищей
тычут обещанья,
пишут письма
по ветру отчаянья.
ты заметил комнату,
заметая в щели
пыль и щебень доводов.
комната оконная.
полый дом смущенья.

II

жить наугад
бесконечно и глупо живым
не доказать ничего
почти ничего не сказать
ведь
никогда ничего не сумеешь уметь
ни наяву
ни в уме

Ярцев Ростислав Игоревич — поэт, филолог. Родился в 1997 году в г. Троицк Челябинской области. В 2021 году окончил филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Автор книги стихов «Нерасторопный праздник» (М., 2021). Живёт в Москве.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

III

сколько вас тишайших
в никуда спешащих
сколько вас нежнейших
нищих перемерших
догоните дайте
смертной благодати
лёгкости и ловкости
от которых не спасти

IV

не вода, не камень
трогает руками —
черновое время
в половодном храме
тишина даренья
и ночное пламя
будь ко мне добрее

V

храм растёт над собой
выгнутым сном:
ни городам светить
ни самому вместить
их непокой
если бы знать что знать
плыть над рекой
думать под купол брать
что под рукой
всё бы иметь:
и медь и серебро
чтобы болеть звенеть
смерти назло

VI

не дерево, сошедшее с ума,
но пробиваешь время срубом:
раздора одинокая тюрьма
в тебе жива брезгливым трупом.
не камень, а немая глубина,
не ветер — вера перебега —
в тебя зарытая вина
за небо гнева.

VII

падаю тебе на плечи кровью виноватой —
я гремучие деревья слушал и запомнил.
в них земная кровь рыдала и темнело время.
проведи меня скорее по стволам дремучим,
дай остаться камнем крови, плакальщиком ночи,
чтобы боль не остывала, не светали почвы.

VIII

долго-долго плакали деревья
над тобою в это воскресенье
ты лежал как маленькая птица
притворившаяся зверем
ветры перелистывали землю
по стволам пугливым и ветвистым
и тебя выискивали свистом
по приёмным семьям

* * *

Как смерть растерянно летит стихотворенье,
река-болтушка шепчется в окне,
куда приходит голос древний
поговорить со мной, но не ко мне.
На стёклышке зрачка случайно замер,
ошибся дверью, выскочил в окно,
а сердце смотрит, как река рыдает,
всей кровью опрокинута на дно.

* * *

были руки стали закорюки
были знаки стали забияки
исчезая кто-то норовит
отобрать родимый алфавит
если мысли прописи и речи
потеряли облик человеческий
что предпринимать куда ползти
с жалобой безротою взаперти
обо что излечивать увечье
злое слово снова научи
остальные вещи червяки
напитают веществом
им есть чем

* * *

За десятью дверьми
есть бункер со зверьми:
находка для ума,
вольготная тюрьма.

Зверям тепло в ночи
от пепла и мочи.

Для этого тепла
земля их погребла
и пепел их телец
распотрошил жилец.

Всё это не конец.
Всё это не конец.

Никита Контуков

...и никакого просвета

Рассказы

Проводник

У Тюкавина, как у всех немосквичей, был особенно выражен инстинкт жизнеустойчивости, иначе не стал бы он покидать родное болото и перебираться в громадную столицу, где прорва народу сходит с ума от загазованности и нитратов. Действительность, лишённая гармонии, раздражала его: Тюкавин как никто понимал, что мир задуман не для нас, что им нельзя наслаждаться, к нему можно только приспособливаться, в нём нужно мучительно выживать. Перспектив у людей никаких: наломаться до скрипа шейных позвонков, нарожать детей да и слохнуть. За девять минут, пока агонизирует мозг.

Нет, не такой судьбы хотел для себя Тюкавин: в Москву он приехал с единственной целью — найти себе богатую невесту из коренных, тихо расписаться в районном загсе и получить в историческом центре прописку.

Через месяц Тюкавин встретил Авдотью у колоннады театра имени Вахтангова — она не пропускала ни одной премьеры, знала в лицо всех актёров, коллекционировала афиши и программки, от неё даже пахло нафталином. Тюкавин не стал ходить вокруг да около и сразу покорило сердце одинокой вдовы:

— Вы знаете, после слов императора Франца Иосифа, что Венская опера похожа на вокзал, её архитектор наложил на себя руки.

Их роман был похож на феерию, требующую пышной постановки: он израсходовал все свои чулочные сбережения, водил Авдотью в столичные рестораны, где они обсуждали среди апофеоза зеркал, хрусталя, лепнины и позолоты только что увиденный спектакль. Однажды он сделал ей предложение — неловко, сумбурно, ибо Тюкавин, не будучи огнепоклонником в еде, заказал острое блюдо с кусками стерляди, судака и лосося, обжёгся и задышал рывками. Авдотья ни секунды не раздумывала — таким забавным показался ей этот провинциальный валенок, остужавший во рту кусок, что она не могла ему отказать. В первую брачную ночь в их спальне стояла насыщенная тишина, как перед началом действия, но Тюкавин был так хорош, что в финале всё вышло на крещендо.

Когда же выяснилось, что Тюкавин — авантюрист с обывательской склонностью к дешёвым эффектам, у которого за душой ни гроша, ни нитки, Авдотья сдержала свои истерические наскоки: обычно сварливая, она в последнее время заметно переменилась: смотрела на Тюкавина отчаянными глазами, не понимала, что с ней происходит, и была напугана этой внезапной, как выпад шпаги, переменой. В конце концов, Фет в старости тоже женился по расчёту и был примерным помещиком, владельцем трёх богатых имений. Ради Тюкавина она разрушила свой уютный мирок за какой-то месяц, совсем потеряла голову, а молодчик нисколько не гнушался жить за её счёт. Он дарил ей супружеские радости: в нынешнее время эта услуга в такой цене, что не подступишься. И Тюкавин, как токующий перед самкой семицветный фазан, всегда был готов к спариванию.

Он жил припеваючи — истинный паразит, переживающий своего хозяина. Крыша над головой, прописка, опять же московская, елось ему жирно да сладко пилося — каких ещё удовольствий просить от жизни? Но однажды ему всё разом обрыдло, хотелось как можно скорее куда-нибудь деться. От Москвы веяло тоской огромных пространств, и Тюкавина потянуло домой, где всякий кусок земли дорог. Он убедился, что семейная жизнь, в сущности, скучное, пресное занятие. Хотелось вырваться из этой опостылевшей круговерти хоть на месяц, неделю, пару дней — сбежать от всего, что он знал, — от Авдотьи, от надкушенного яблока, наконец.

Дома его не ждут. Не успеет ступить на перрон — вопросы начнутся неудобные. Набросятся на него, станут трепать по шее, отмечая, как он поплохел в этой своей Москве — приехал грубый, страшный, чужой, а ведь не виделись всего-то два месяца. Будут коситься со злорадным любопытством: какой из него москвич? Мы, мол, с самого начала предрекали, что затея пустая и ничего хорошего из неё не выйдет. А Тюкавин раскается, как студент после пьянки: и зачем я туда попёрся? Господи, как же хорошо дома! Как любил он лапотный быт родной деревни с её свободной, не закатанной асфальтом землёй. Он больше никуда отсюда не уедет. Он надеялся вернуться через много лет триумфатором и глядеть на всех свысока. Что ж, приходилось мириться с этим непростительным афронтом. Можно что-нибудь придумать, зачищая правду, как первоклассник зачищает огрехи в домашней работе, соскабливая бритвенным лезвием буквы с листа тетради. Нагородить с три короба. Но нет, он скажет правду: опротивело, отболело.

Тюкавин был не в силах превозмочь искусу. Он купил билет на поезд и думал об этом под стук колёс и раскачивание вагона. Он хотел как можно скорее уехать, мчаться на поезде, бешено глотая шпалы и всё время упираясь в небосвод. Он представлял, как неожиданно зайвится в родные пенаты, как все пружинисто, рывком, обернутся в его сторону, как ошалело заморгает Катька — она-то думала, что всё, с концами, а он взял да вернулся. Тюкавин расписывался не на шутку, когда вся родня столпилась на полустанке, устроив ему шумные проводы: он отгалкивал от себя Катьку, он говорил, что хватит, что прошла любовь и жмут ботинки. А Катька, может, беременная ходит — тогда ещё незаметно было, — а теперь брюхо не скроешь. Вот она обрадуется его возвращению! Обрадуется до поросычьего визга. Представлял, как пожурит мать, благодушно и незлобиво, чтобы не дать отцу разозлиться по-настоящему: она не хотела отпускать Тюкавина, ей и сны нехорошие снились, неприятное предчувствие тяжело ложилось на грудь. А отец распекать будет: вечно он рихтовал Тюкавина под себя, а Москву с её бензиновым смрадом ненавидел до рвотных спазмов, как и все в его роду ненавидели стольный град ещё с тех давних пор, когда Москва была пустым местом с необозримыми полями и разбросанными там и сям помещичьими гнёздами.

Он представлял, как бабушка попятится со страхом в глазах, выставляя вперёд дощечки ладоней, словно прогоняя пугающее видение, и бормоча: нет, не может быть. Это ты, Серёжа? Она ещё войну помнит, от эвакуации не отошла, сколько похоронок в руках держала! Она всё ждёт своего Серёжу, который не мясом шёл на войну, а офицером. Он обещал вернуться — вернуться на землю к усладе жизни. И она всё ждала, ждала. Она и Тюкавина называет Серёжей, хотя он, конечно, никакой не Серёжа. А Тюкавин подыграет ей, хохотнув. Чего бабушку зря расстраивать — ей жить-то осталось два понедельника. Она и ждёт его, и поверить не может: слишком долго наши в битых ходили. Неужели целёхонький вернулся? Да хоть живой — уже радость. Бабушка так и прокуковала всю жизнь горькой вдовицей — синдром мёртвого жениха называется: от живого офицера ушла бы наверняка — они после войны умом стронулись, стали на жён замахиваться жилистым кулаком, а мёртвый стиснул её навек. Такой холодностью от неё несло, что никто из местных бобылей не посмел соваться на свежее горе. Бабушка ждала своего офицера — строгого, молчаливого, с одеколонным душком. Тюкавин подумал, что надо обязательно принять на вокзале душ и переодеться во всё чистое: он такой грязный, что рубашка липла к телу. И непременно купить одеколон.

Часто судьба посылала Тюкавину предупредительные пассы, словно невидимый ангел хранил его на крутых виражах: когда всё рушилось, приходили на подмогу случайные люди, ещё помнившие советский экспортный гуманизм с его помощью африканским сиротам, борьбой за право палестинского народа и защитой диссидентов Анджелы Дэвис и Леонарда Пелтиера. Тюкавина вызволяли из беды, вытаскивали из зыбистой трясины, когда положение казалось безысходным: словно возникал из небытия какой-нибудь спаситель, испепелял его грехи и даровал новую жизнь. Казалось, всё, что его окружало, — просто декорации: и небо выкрашено в голубой цвет, и дождь не дождь, и солнце как-то светит не так. И весь мир — вымысел, населённый актёрами, которые играют роли близких в его жизни людей, а сам Тюкавин — объект эксперимента. В сущности, так оно и есть: все об этом знают или хотя бы догадываются, но никто не желает мириться с этим положением, мечтая о блаженной вечности и существовании без начала и конца.

Тюкавин оказался в одном купе с человеком, про которого, кажется, уже всё знал. Он готов был побиться об заклад, что на соседней полке расположился его однокашник Низовцев. Тюкавин сразу узнал его сутулую спину, когда Пашка, сопя от натуги, запикивал наверх чемодан. Повернувшись лицом, Низовцев согнулся в нелепой вежливости, пробормотал что-то невнятное, объясняя цель поездки. Не признал, значит. Или не захотел. Сейчас будет разыгрывать из себя случайного попутчика — за ним такое водилось. Мог, например, нацепить бороду и старый плащ с засаленной подкладкой, а потом расхаживать в таком виде по знакомым улицам, словно нищий, юродствующий во Христе.

— Да чего там, Москва она и есть, — сказал Тюкавин, выкладывая на стол взятую в дорогу еду: запечённую телятину, картофель, яйца, сыр, пирожки. — Это мы, лимита, на лету схватываем, а москвичи тяжелодумы.

— А вы откуда? — робко поинтересовался, словно находясь в святилище, предполагаемый Низовцев.

— Да всё отсюда же, — улыбнулся Тюкавин, свойски ему подмигнув.

Он догадывался, что Пашка до последнего будет упираться, но было как-то глупо ломать комедию, в которой два взрослых человека, знакомые много лет, делают вид, что незнакомы вовсе.

Руслан Бекуров

Два рассказа

Гена дней

Льёт как из ведра. И по самой середине улицы идёт девушка. Босиком, с туфлями в руках. И, размахивая этими туфлями, она подставляет лицо дождю. Картинка из старых советских фильмов. Тарарура-парарура и всё такое. Мальчишки пелятся на девушку из подъезда. И все на неё смотрят — кто из дверей магазина, кто из-под навеса на автобусной остановке.

Гена едет на велике, в кедах и с зонтом — девушка мечтательно оборачивается. Он лишь пронесится мимо:
— С дороги, с-сука!

Гена жил в небольшом городе. Нет, не так. Он жил в маленьком городе. Таким маленьком, что, когда выходишь на улицу, как будто остаёшься дома. В маленьком городе не берут с собой паспорта — здесь тебя и так знает каждая собака. Их в маленьком городе много: три дворняги, пекинес, немецкая овчарка и пара такс.

Гена жил на Летнем проспекте. В кирпичной трёхэтажке. В квартире на втором этаже. Под ним был магазин «Товары повседневного спроса». Там продавали хлеб и грабли. Такой вот повседневный спрос у жителей маленького города.

По пятницам он ужинал в ресторане «Волна». Садился за любимый столик у окна, ел уху и, конечно же, выпивал: иногда коньяк, но чаще водку.

Пьяным ему казалось, что он писатель. В такие вечера, между ухой и десертом, Гена закуривал и, вытащив из левого кармана маленький, как этот город, блокнот, думал над сюжетными линиями.

«Ну, например, я — китобой, — размышлял Гена. — Что бывает с китобоями? Чем они живут? Едят ли уху по пятницам? А если едят, то где?»

— Клара, как ты думаешь, где едят уху китобой? — спросил он у официантки. Она как раз принесла новый графин.

— В гарпунной, — не задумываясь ответила Клара.

«Как-то в пятницу компания китобоев ела уху в гарпунной у порта», — записал в блокноте Гена.

Бекуров Руслан Викторович — кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики. Родился в 1974 году во Владикавказе (Северная Осетия). Проза печаталась в журналах «Дарьял», «Сибирские огни». Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Обычно ресторан закрывался в одиннадцать. Гена оставлял Кларе пару монет, рассовывал по карманам свои вещи и уходил. Он немного сутулился и ходил на полусогнутых — в темноте казалось, что по ночным улицам гуляет горилла.

В один из таких пятничных вечеров Гена и понял, что реальная жизнь ему до лампочки. Он, как обычно, возвращался домой. Моросил колочий дождь. Капли били по капюшону — удивительное сочетание суеты и комфорта. Гена знал эти улицы наизусть, каждую трещинку в асфальте. Но, свернув на Пионерскую, он вдруг увидел её совсем другой: с аккуратно подстриженными кустами по обе стороны дороги, с барами и бистро, с летними верандами, в которых выпивают и танцуют беспечные девчонки в тюрбанах. И дождь как-то сразу закончился, и старые разбитые фонари наполнились неонов, и сам Гена почувствовал, как его прокуренные лёгкие начинают раздуваться от воздуха приключений — ещё чуть-чуть, и он улетит за облака.

Всё из-за «Фиесты». Гена совершенно случайно нашёл эту книжку. Во дворе мальчишки разводили костёр. Они бросали в огонь бумажный хлам. Гена сидел на скамейке, курил и думал о своём. Начинаясь вечер, похолодало. Гене захотелось погреться у костра. Он сел на корточки и вытянул руки. Под ногами валялась книга без обложки. Края страниц почернели от огня, корешок, наоборот, заметно отсырел. Гена сунул её в карман пиджака.

Уже дома он бросил книгу на кухонный стол и до ночи занимался своими делами: чистил ботинки, разгадывал кроссворд, передвигал шкаф, слушал пластинки, стриг ногти. Потом разделся, почистил зубы, принял душ и заглянул на кухню за стаканом воды. Книгу взял с собой в кровать — он любил почитать перед сном. «Фиеста» убила Гену с первой строки.

Он жадно проглатывал каждую страницу, а потом жалел, что страниц в книге становится всё меньше. Закончив, Гена начал читать её снова, как будто боялся, что утром за книгой придут мальчишки.

На следующий день Гена взял в библиотеке все книги Хемингуэя, которые лежали на полке с буквой «Х»: «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой», «Старик и море», «У нас в Мичигане», «Острова в океане», «Райский сад». Они ему тоже понравились, но всё же не так, как «Фиеста».

По воскресеньям Гена полдня мыл окна — он любил этим заниматься. А вечерами до самой темноты сидел на балконе и писал. Иногда в его голову приходили странные мысли. «Здесь как в Сан-Себастьяне. Без моря, конечно, но с “Волной”. И с чайками. Откуда они прилетают и зачем?»

Недалеко от церкви и кладбища протекала хилая речка Река. Полметра в ширину. Зимой она покрывалась льдом, и дети катались по ней на санях. От улицы Сомова через Реку был маленький деревянный мост с прогнившими перилами, на которых висели замки влюблённых — большие и маленькие, старые и совсем ещё новые. Дурацкая традиция, Гена её не понимал. «Аня + Ваня = любовь», «Сима и Зураб навеки вместе», «Сергей и Марина. Совет да любовь».

Свадьбу Ани и Ивана играли три года назад в «Волне». В разгар праздника в туалете невесту отшпилил дружок жениха — урка из Иркутска. Об этом все знали. И Ваня догадывался. Но сначала терпел, а потом привык.

Сима зарезала кухонным ножом Зураба, когда тот спал. Это случилось как раз на прошлогодних январских выходных. Почему она его грохнула — никто так и не понял. Вроде жили нормально.

А вот Маринка Корчная и Серёжа Емельянов купили квартиру, нарожали детей. Всё у них в шоколаде — есть даже мини-бар. Бывает, Сергей по пьяни колотит Марину.

Но их ссоры быстро проходят. Однажды Емельянов порвал жене ухо. Их семья превратилась в местных героев — приезжали журналисты из Москвы.

Гена знал всех этих людей. Кого-то уже нет, а замочки висят себе и не парятся.

А сам Гена жил один. Мама умерла три года назад. Отца он никогда не видел. Из родственников в живых остался лишь старший брат. Но и он уже давно переехал в Бухарест — нашёл румынские корни по маминой линии, получил ихний паспорт, женился на дунайской татарке. Раз в месяц брат переводил Гене четыреста евро — на жизнь хватало.

После смерти матери женщин у него не было. И до её смерти — тоже. Нет, он, конечно, спал по пьяни то с одной, то с другой. Но так чтобы по любви или хотя бы от скуки, не получалось. Не жила в этом городе его Брет Эшли. Даже проездом не останавливалась.

«Вырваться из этой дыры — не вариант, — размышлял Гена. — В таком случае остаётся одно — слепить здесь свой личный Сан-Себастьян и жить в нём по максимуму долго. Не замечать провинциальную рутину, быть “как если бы” или что-то вроде того».

Под диваном лежали коробки со старыми вещами. В одной из них Гена, наконец, нашёл мамин берет с хвостиком на макушке. И ещё пионерский галстук — в школе он его ненавидел. Потом Гена взял на кухне длинный чулок с головками чеснока и надел его на шею. В берете, галстук и чесночной вязанке ему казалось, что он выглядит как натуральный баск.

В таком виде Гена и решил идти на день рождения Артёма Тенева. Вызвал такси, взял ящик игристого «Абрау-Дюрсо» (как сказал продавец в вино-водочном, по фактуре — один в один «Шабли Ле Финаж»), положил в плетёную корзину сервелат «Рижский», баночку паштета из форели и ржаной багет. Пока Гена сидел на скамейке возле подъезда в ожидании перламутровой «Лады Веста», в небе совершал виражи старенький кукурузник. Гена поднял голову и, прикрывая ладонью, как будто от солнца, глаза, долго за ним наблюдал. Он увидел в нём себя.

— Геннадий, на фига тебе пионерский галстук? — Гена и не заметил, как к нему подошёл младший сержант полиции Исса Айдаров.

— Это не галстук, а баскский шейный платок.

— Ебаскский у тебя шейный платок, — зачем-то уточнил хмурый полицейский. А потом добавил: — Не забывай, ебаск, в среду мы едем на рыбалку.

Понедельники бывали разные. У вторников тоже случались вариации. А среды и четверги пролетали со скоростью звука — у Гены все эти дни смешались в один бессмысленный и безобразный поток.

— Скажи «поток», — попросил его Айдаров.

— Ну, поток, — сказал Гена.

— Говна кусок! — радостно закричал младший сержант.

Подъехала серая в жёлтых разводах «Лада Веста».

— А где же перламутр? — сам себя спросил Гена.

Водитель, вцепившись в руль, уточнил:

— Так, мы едем в Сосновку — я правильно понял?

— Ага, — ответил Гена. — Но сначала покатаемся по городу. Где тут у нас Елисейские поля?

Таксист равнодушно посмотрел на чесночную вязанку, дёрнул рычаг коробки передач, и они рванули к кинотеатру «Юность». «Ну хоть так», — подумал Гена.

На улице Грина он заметил официантку Клару — она сидела на автобусной остановке и палочкой ела шербет.

— Клара, хотите шампанского? — Гена опустил стекло.

— Хочу! — ответила Клара.

Бум! В городе начиналась ночь, люди спешили по своим домам, а они — счастливые и беспечные — ехали в Сосновку, выпивая из бутылки и закусывая сервелатом. Бум!

— Представь, что мы едем в Бургете. Ты понимаешь, в Б-У-Р-Г-Е-Т-Е! — Гена неловко обнял Клару на повороте. Берет валялся под ногами.

— Мы едем в Сосновку, — уточнил таксист.

На берегу карьера, заполненного водой, Артём Тенев с размахом справлял днюху. Гена с Кларой подъехали, когда все гости уже собрались. На камне на полную катушку гремел двухкассетник «Шарп» — в четырнадцать лет Гена бы продал за него брата. Алёна Петухова танцевала с Егором из трамвайного депо. Артём по-хозяйски возился с шашлыками — на шампурах они шипели как гадюки. Лиза, его девушка, резала огурцы и помидоры. Соня Мечтаева, Денис Подкорытов, Мелик Айвазов, Жанна и Борис Зайнутдиновы разухабисто выпивали на брёвнах. Или не разухабисто, но Гене казалось, что выпивали они именно разухабисто.

— Хэллоу, друзья! — Гене очень хотелось, чтобы всё было как в книжках Хемингуэя.

Клара зачем-то сразу убежала в кусты.

— Ого, блеск! — Артём принял от Гены ящик шампанского — в нём не хватало пары бутылок.

— Ну чё, я поехал или нет? — с надеждой спросил таксист.

— Оставайтесь! — крикнула Соня.

— Ну, если так просите...

— У меня есть всё, чтобы нравиться мужчинам, — Соня слегка укусила его за ухо.

И, кажется, он ей поверил.

Напиваться в компании Гена не любил. Ему больше нравилось бухать в одиночестве. Как-то Клара намекнула, что это пахнет алкоголизмом. Гена принялась — пахло свежей выпечкой. «Если так пахнет алкоголизм, я уже сейчас хочу быть хроническим алкоголиком», — сказал он тогда.

Вот и теперь он скорее делал вид, что пьёт и веселится. Гена сидел на бревне между Меликом и Алёной, чистил ветку перочинным ножом и вяло поддерживал беседу. Неожиданно завязался спор: начнётся война или нет.

На фоне разговоров о политике почти идеальную фразу выдал таксист. Он приобнял Соню и сказал:

— Знаете, я женат, у меня дети, но по старой привычке хочется нравиться.

И Гена вдруг вспомнил, как однажды в «Волне» Соня Мечтаева призналась ему, что полжизни имитировала сарказм.

Борис Зайнутдинов был терапевтом в местной поликлинике. С Геной они познакомились как раз в медкабинете. Борис задумчиво разглядывал результаты анализов, а потом с сочувствием сказал: «Видимо, пришла пора платить за бурную молодость». «У меня не было бурной молодости», — ответил Гена. Борис пожал плечами и предложил выпить спирта.

Обычно врач Зайнутдинов начинал врать с того, что, указывая на Гену, говорил:

— Вот он не даст мне соврать.

И вроде как все это знали, но почему-то вруном в итоге обзывали Гену, а не Бориса.

— Геннадий не даст мне соврать, — до апокалипсиса остаются считанные дни. Американцы давят санкциями, но Москва не пойдёт на уступки. Войны не миновать! — кричал Борис в пьяном угаре. Он начал пить ещё с утра.

— Кому мы на хер нужны? — это был риторический вопрос от Егора с трамвайного депо.

Анна Павловская

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Вокруг воздушной скинии

* * *

почему не происходит
никакого волшебства
словно кончились в природе
вдохновенные слова

словно лопнула под спудом
задушевная струна
ночь стальная барракуда
выплывает из окна

долгий долгий плёс бессонный
монотонный плеск волны
в зазеркальном законном
королевстве тишины

* * *

Я живу в стеклянной комнате
На границе невесомости,
На прозрачном этаже,
На последнем рубеже.

Не имея сна и роздыха,
Сколько мне бродить по воздуху,
Как забытому апострофу,
Как последнему апостолу.

Будто я хранитель облака,
Будто я лишилась облика,
Сделала последний шаг,
Превратилась в нотный знак.

А вокруг воздушной скинии
Протекает небо синее,
И виднеется вдали
Задымлённый край Земли.

Павловская Анна Славомировна — поэт, переводчик. Родилась в 1977 году в Минске. Окончила Институт журналистики и литературного творчества (Москва). Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Крещатик», «Новый мир» и др. Автор трёх книг стихов: «Павел и Анна» (2002), «Горна Соррьенто» (2008), «Станция Марс» (2018). Лауреат литературных премий. Живёт в г. Домодедово.

* * *

Начиналась пора составления
уходящего в сумрак письма,
где признания и обвинения
постепенно сводили с ума.
Начиналась пора бормотания,
выговаривания пора,
принимающая очертания
человека в момент расставания,
догорающих углей костра.
Адресат исчезал постепенно,
оттеснённый громадой вещей,
и летал возле лампы настенной
мотылёк одинокий, ничей.

* * *

Доумевая и годую	Но может быть об этом рано
Когда тебе за сорокет	И всё оставим на потом
Ты выбрал бы себе такую	
Сякую жизнь которой нет	Ещё грядущее велико
	Великолепное грядёт
Каким ты был глупцом болваном	И ты ещё не шытом лыко
Каким никчёмным дураком	Или совсем наоборот

* * *

Я тебя любила
В прошедшем времени,
Я тебя искала
В кромешной темени.

В допотопном вареве,
Где ни зги,
Где ещё не требовались
Мозги.

Где сплетались яростные
Растения,
Где являлись ящерицам
Знамения.

Где вставал на обе ноги
Сурок
И встречал придуманный им
Восток.

Тишина пылила,
С небес пекло...
Как давно всё было
И всё прошло.

Микола Адам

В стране белых рос

С белорусского. Перевод Анны Павловской

* * *

Если сердце болело,
Воздуха не хватало, —
Ко мне заходил несмело
Мечтатель Янка Купала.

Когда поддаваясь спину,
Я забывал свой голос, —
Мне распрямлял спину,
Отец мой, Якуб Колас.

Когда я искал призванье,
Блуждая меж тьмой и светом, —
Звучали, как оправданье,
Богдановичевы сонеты.

А если, совсем отчаясь,
Не видел я в жизни смысла,
Встречался за чашкой чая
В кафе с Анатолем Сысом.

* * *

Наши жизни — пшеничное поле,
Колоски под серпом потемневшего неба.
Твоё солнце — с запада Украины,
Моё — с запада Беларуси,
К сожалению, это разные вещи,
Потому что закаты неповторимы.
Всё равно только ты — моё солнце.

Микола Адам — белорусский поэт, прозаик и переводчик украинского происхождения. Родился в 1978 году в Белоруссии, до 1992 года жил в г. Шахтинске (Казахстан). Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (2000) и факультет культурологии Белорусского государственного университета культуры и искусств (2005). Автор трёх сборников стихов, среди них «Небо на столі» (2020, на украинском) и пяти книг прозы, в том числе «Сёстры» (2020) и «Дачка» (2022). Перевёл на белорусский язык стихи В.Стуса, Т.Мельничука, М.Биденко и других украинских поэтов, а также прозу М.Вайно, С.Бреславской, Т.Белимовой и др. Лауреат международных литературных премий. Живёт в Минске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Наши жизни — как будто весы —
Перевес отношений на страсть тяготения.
На большом расстоянии,
Вне пределов орбиты,
Я слышу, как бьётся твоё совершенное сердце
В ритме танго.

Наши жизни — отличный синопсис
К большому роману.
Ты снимешь кино,
Наши жизни сольются, чтобы дышать в унисон,
Чтобы два разных Запада
Соединились в один.

* * *

Она — клиентка другой страны.
Он — пациент своей неидеальной.
Их разделяют поля тишины.
...Она — красотка, он — просто гений.

Их встреча — случайность в одном из миров
На фантастической пикадилли.
Её приманили рингтоны стихов
И окончательно полонили.

Её захватили его слова,
Мир, не закрытый в чёрные рамки,
Он строил воздушные острова,
Возводил песочные замки.

Вместе им было жить суждено,
Друг за другом каждое слово
Повторяя, взоры и жесты, но...
Реальность оказалась сурова.

Потому её далеко унёс
Ветер странствий в небесной стае,
Пока он одиноко в стране белых рос
Последним рыцарем погибает.

Марго Гритт

Вторжение

Рассказ

1

Квадратик глянцевой бумаги в белой рамке был похож на снимок поверхности Луны. Четверть серебристого диска с тёмным, почти чёрным пятнышком в центре — то ли крохотный кратер, то ли островок посреди высохшего лунного моря, то ли база пришельцев, незаконно вторгшихся на освещённую сторону светила. Лара царапнула по пятнышку ногтем — ей всё казалось, к бумаге просто что-то прилипло. Поддеть, скovyрнуть. Не вышло.

Не к бумаге — к ней что-то прилипло изнутри.

Снимок УЗИ был прицеплен к дверце холодильника пластиковым магнитом — подслеповатой Статуей свободы, которую будто окунули в пузырьёк с зелёной. На пьедестале небрежно вылеплены буквы I и NY, а между ними — маленькое сердечко, плохо покрашенное красным. Лара никогда не бывала в Нью-Йорке, она купила магнит на «Авито». Ехала за ним через весь город в Сокольники. Мужичок, почёсывая коричневое проспиртованное тело под вязаным жилетом, уговаривал взять оптом пять за пятьсот. Незаметно распродал сувениры, оставленные хозяевами в съёмной квартире. Рим, Шанхай, Геленджик, Барселона, Нью-Йорк. Найди лишнее слово.

— Только Нью-Йорк, пожалуйста.

— Двести пятьдесят.

Лара не стала торговаться. Мужичок вопросов не задавал, а матери было сказано, что магнит подарила подруга.

Пластиковая Статуя теперь придерживала маленькую чёрно-белую декларацию зависимости, гарантирующую Ларе право на несвободу. Материна идея: повесить её прямо по центру, на уровне глаз, чтобы каждый раз, когда Лара подходила к холодильнику, снимок УЗИ напоминал об инопланетном вторжении в её нутро. Незаконном вторжении. А к холодильнику Лара подходила уже восьмой раз только за утро, тянула залапанную ручку, внимательно осматривала полки, будто за последние пятнадцать минут на них могли появиться новые продукты, и, так ничего не выбрав, захлопывала дверцу.

— Ты вообще сегодня ела?

Марго Гритт родилась в 1990 году в Новороссийске. Окончила Краснодарский Государственный Университет Культуры и Искусств по специальности режиссёр кино и телевидения. Магистрант программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Мать горбилась у стола, держала на раскрытой ладони кружочек теста бережно, будто выпавшего из гнезда птенца, и вкладывала ему в раскрытую пасть розовый комочек фарша. Пальцы быстро-быстро задвигались, защипывая тесто по краям.

— Моришь голодом себя и... его, — мать дёрнула головой в сторону Лариного живота и смахнула упавшую чёлку, припудривая мукой лоб. Лара хотела поправить: «Её, а не его», но промолчала. Поправлять насчёт «моришь голодом» ей не хотелось. Мать продолжила, припевая-уговаривая:

— Ну, ничего-ничего, Ларочка, скоро пельмешки будут, я и сметанки купила, как ты любишь, домашней...

Уменьшительно-ласкательный суффикс прицепился к Ларе, когда мать стискивала её плечи так, что с них долго не сходили полукружия обрезанных под корень ногтей, и верещала: «Не пушу, не пушу. Грех какой!» — а потом сорванным голосом припевала-уговаривала: «Ларочка, доченька, миленькая», — и суффикс этот так и лип, так и лип, и вслед за ним сама Лара округлялась, ширилась, пухла. Ей представлялся великолепно исполненный пузырь жвачки — ту тоже сначала не щадили: давили, плющили молярами, сцеживая мятный вкус, потом она раздувалась, всё больше и больше, пока не лопалась, пустотой наружу, а жизнь свою заканчивала, прилипнув к чьей-то резиновой подошве. Похоже. Только вот внутри Лара не была пустой.

— Надо кушать, Ларочка, поправляться.

Надо-надо. Ей надо. Лара шагнула к столу, взяла с тарелки сырой пельмень, только что скрученный матерью, и сунула в рот. Раскусила тесто, шершавое из-за муки, солёный мясной сок брызнул на язык. Мать вскрикнула и схватилась за крестик на груди. Лара сглотнула.

Похожий крестик бил её по носу в августе. Правда, у матери он висел на грубом пеньковом гайтане, натирающем шею, а тот — на тоненькой серебряной цепочке, которая выпросталась из-под промокшей футболки. Дядя Андрей не раздевался, только приспустил спортивные штаны. Лара лежала с открытыми глазами. Крестик вспыхивал и отражал каждый проблеск молнии, которая резвилась где-то в горах, над ними, сверкала, как светомузыка на самой отвязной дискотеке. Дождь по-фредастеровски отбивал чечётку на пологие палатки. Лагерь беспечно разбили прямо у речки, до того мелкой, что её можно было перейти вброд по выступающим камням, не замочив кроссовок, чтобы по ту сторону собрать горного чабреца. Лара представляла, как речка набухает от дождевой воды, поднимается, выходит из берегов — вот-вот хлынет, опрокинет их вместе с палаткой, смочит с неё дядю Андрея.

Дядя Андрей был похож на американского актёра, имя которого Лара не могла запомнить — он ещё играл в дурацком фильме с ковром (цитату «Ковёр задаёт тон всей комнате» растащили по интернету) и носил волосы до плеч. Дядя Андрей стригся коротко, а просвечивающий на макушке череп гарантировал скорую лысину, но вот если бы он отрастил волосы... Сходство было не так заметно, пока в горах он не перестал бриться. И мыться. Не мылись они уже пятый день — Лара обтиралась антибактериальными влажными салфетками, поэтому от неё всё время несло спиртом. От дяди Андрея тоже несло спиртом, перебивающим запахом немытого тела, но только потому, что он выпил коньяка — «чтобы лучше спалось».

Но ему не спалось.

Дядя Андрей не был Ларе родным дядей, но она привыкла называть его так с детства. «Я тебя ещё во-о-от такой козявкой помню», — говорил дядя Андрей, отмеряя ладонью расстояние от земли до области паха. Ларин отец привозил семью на дачу каждое лето, а дядя Андрей с женой и двумя дочерьми от первого брака жили там круглый год. У них был солидный, хорошо отапливаемый дом, не то что «наше бунгало», как называл дачный домик отец, и яблоневый сад на шести сотках —

дядя Андрей гнал в погребе сидр, а тётя Таня, его жена, готовила варенье в громадном алюминиевом тазу, жалея сахара. «Кило по пятьдесят девять рублей, ну это мыслимо, а?» Дядя Андрей как-то застучал Лару, когда она приподняла полотенце, которым тётя Таня накрывала варенье от мух, и запустила туда руку. «Лара у нас сладкоежка». Дядя Андрей пообещал, что никому не расскажет, если она даст ему облизать палец. «Кислятина» — сказал он.

На отцовских похоронах дядя Андрей впервые налил Ларе водки. «А ты не нюхай».

Лара и сейчас старалась не вдыхать.

Перед походом в горы, который две семьи устраивали каждый август, мать Лары сломала ногу, а тётя Таня ждала первенца. «Традиция есть традиция, да, девочки?» — спросил дядя Андрей, запихивая спальные мешки в багажник. Он забыл выгрузить ящики с пустыми бутылками из-под сидра — бутылки тёрлись боками и тоненько дребезжали всю дорогу. Лара ехала на переднем сиденье, его дочери сзади уткнулись в телефоны, пытаясь поймать последнюю связь перед неделей без интернета. Лара представляла, что она — жена дяди Андрея, а за спиной играют в «Растения против Зомби» её дети, пусть это и было невозможно: старшая, Катя, была всего на пять лет моложе Лары. Дядя Андрей тянул рычаг коробки передач, едва задевая рукой её загорелое колено. В его зеркальных очках-авиаторах Лара переглядывалась с худой блондинкой — каре под кепкой с надписью NYC и крашенные в малиновый кончики волос, глаза в пол-лица, как у героини аниме, кроп-топ, оголяющий металлический шарик в пупке, — позже его попробует на вкус дядя Андрей. «Я тебя ещё во-о-от такой козявкой помню. А теперь гляди, какая взрослая». Лара только закончила третий курс и ещё не знала, что больше не вернётся в институт.

Когда ставили палатки, недосчитались металлических колышков. Дядя Андрей одалживал снаряжение другу и не проверил перед выездом. «Вы же не хотите, чтобы палатку унесло, как домик Дороти? И ураган не нужен, хватит порыва ветра». Решили, что поставят две — Катя будет делить палатку с Ларой, а младшая дочь, Сонечка, — ночевать вместе с отцом. Дядя Андрей будил их рано стуком топора — на рассвете, пока все спали, собирал валежник и разжигал костёр. Разводил в походном котелке растворимый кофе пополам со сгущёнкой, потом вёл девочек на водопады — девочки ломали ногти, карабкаясь по мшистым валунам и цепляясь за влажные корни, — а днём, после обеда, когда было слишком жарко, чтобы выбираться из лагеря, играл с дочерьми в дурака или включал в машине музыку, пока Лара пыталась читать в палатке или дремать.

Сонечку взяли в поход впервые, и привычную для остальных красоту она постигала незамутнённым, совершенно ещё детским взглядом: «Смотри, какое облако! Смотри, какая птица! Смотри, какой пенёк!» Далёкий горный хребет, будто подведённый густой гуашью, торжественно проступавший из утренней дымки, впечатлял её не так, как найденный в реке камешек в форме сердца. Сонечка всё время беспокоилась, встретят ли они в лесу медведя. На турбазе, куда они через день спускались зарядить телефоны, им показали снимок медвежонка, застрявшего на дереве. По вечерам у костра Сонечка оглядывалась на обступающую их со всех сторон тьму и жалась к Ларе, когда они сидели на одном бревне, улетающая гречка с тушёнкой. Лара чувствовала себя взрослой. В первую ночь Сонечка разбудила Лару и попросила отвести её «по-маленькому» — она стеснялась присесть у ближайшего куста, рядом с палатками, но боялась сама заходить дальше в лес. Лара шла впереди с фонариком, который выхватывал из темноты примятую траву там, где они бродили днём в поисках хвороста, и поваленный орешник — там они видели жужелицу: «Смотри, какой жук!» Потом Лара указала в сторону лохматых ёлок, по-свойски жмущихся друг к другу.

Диана Светличная

Каракульча

Рассказ

1

Небо в тундуке¹ посветлело, будто кто-то забелил черничную глубину, смыл горящие точки, смешал белое с синим, устал, бросил. Мээрим прищурила один глаз и сложила пальцы в рамку. В рамке застыла красная решётка тундука, полинялое небо, серый кусок кошмы. Мээрим подумала, что начнёт свою лавстори с этого кадра.

Она впервые ночевала в юрте, но всё здесь казалось ей знакомым, близким, родным. Крик осла, отчаянный и протяжный, заставил её сжаться в комок, она укрылась с головой, обняла колени и провалилась в мир сна.

Ей снилось, как она скачет на коне через реку, воды в реке по колено, но течение быстрое, конь спотыкается, того и гляди сбросит. Она пригибается к гладкой спине животного, гладит по упругим бокам, обнимает за шею. Конь громко дышит, его бока раздуваются, всё больше и больше становится чёрный конь, не обхватишь ногами. Неудобно и страшно сидеть на огромном звере. Встал на дыбы гигантский конь, к небу подпрыгнул; внутри Мээрим всё перевернулось, почувствовала она, что падает. Проснулась горячая, волосы мокрые. Сквозь тундук светило солнце. Николая лежал рядом, чуть запрокинув голову и приоткрыв рот. Мээрим приподнялась на локоть, нащупала в полумраке телефон, прицелилась в тундук, щёлкнула.

— Гони его сюда, возьми палку, не бойся! — услышала Мээрим голоса рядом с юртой и вспомнила вчерашний эффект «унесённых ветром», когда слышишь шёпот тех, кто стоит на горизонте, и не слышишь ни звука из того, что кричат тебе в ухо те, кто рядом. Потому что ветер срывает слова с губ и несёт куда ему вздумается.

Мээрим приподняла тяжёлое одеяло, вылезла на коленях из тёплого кокона, сдвинула кошму на входе, зажмурилась. От яркого солнца на глазах выступили слёзы. Зелень склонов была наотмашь. Мээрим приставила ладонь козырьком и попыталась охватить всю палитру этого нереального мира: мята, малахит, изумруд, лайм, мох,

Диана Светличная (Юлия Горайнова) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподаёт в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете Международных отношений. Постоянный автор «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 4.

¹ Конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты в виде решётчатой крестовины, вписанной в круг.

спаржа — оттенки зелёного переливались, как драгоценные камни; всё дышало, дрожало, хотело жить. Мээрим попыталась найти правильное слово для выражения эмоций от цвета на французском для Николя, но в голове было пусто. В Академии обсуждали все оттенки модных брендов — цвета киргизских гор среди них не было.

— Красиво, — раздался за спиной голос Николя. И плечи Мээрим сразу обмякли, внизу живота стало тепло.

За юртой готовили обед. В большом круглом казане пузырился янтарный бульон; ароматы трав, горящей арчи, варёного мяса пьянили, потекли слюнки.

К соседним юртам подъехал бус, из него высыпали люди с рюкзаками, фотоаппаратами, в одинаковом альпинистском снаряжении. Рядом с ними Мээрим увидела маленького Азамата. Он, как и вчера, стоял перед туристами вместе со своей старшей сестрой и показывал пальцем, куда идти на обед. Азамату было не больше восьми, но вёл он себя как взрослый мужчина; у него были серьёзное лицо, крепкая ладонь, и он прихрамывал на одну ногу. Несколько женщин из буса пытались с ним сюсюкать, доставали из рюкзаков сладости, одна туристка погладила по бритой голове. Азамат без эмоций принял внимание, передал конфеты сестре и ещё раз указал гостям в сторону юрты с обедом. Мээрим стало неловко. Она тоже вчера вытрясла свой рюкзак и отдала всё сладкое хромающему мальчику.

Умывались из самодельной бутылочной конструкции, вода была ледяной, колючей. Мээрим видела, как сестра Азамата бегала с ведром к речке. Сейчас, когда все пошли обедать, девочка сидела недалеко от печки и взбивала в деревянном ведёрке масло.

Красная шерстяная кофта, чёрная коса, загорелая кожа на фоне зелёной травы и синего неба — такой кадр нельзя было упустить. Мээрим опустилась перед девочкой на колени, глазами спросила разрешения на съёмку, девочка безразлично приподняла плечи и придвинула ближе к себе ненавистную маслобойку.

Ещё надо записать звук горной речки и топот лошадей. Хотя с топотом будет непросто: земля на джайлоо¹ влажная, мягкая. Но можно поймать свист ветра, а ещё звук того, как белые жирные капли стучат по дну алюминиевого ведра, когда хозяйка доит корову. Сниму закаты, рассветы, огонь в костре, плывущие облака, это будет потрясающий фильм, думала Мээрим.

В юрте стоял низенький столик, за ним сидело несколько мужчин. Пока Мээрим фотографировала, Николя присоединился к компании и даже успел вступить в беседу. На столе горой лежали лепёшки и боорсоки², в пиалах был свежий каймак³. Хозяйка юрты разливала мужчинам чай, мужчины активно жестикулировали, Николя кивал и повторял единственное известное ему на киргизском языке слово — жакшы⁴.

Чай с травами и горячий золотой боорсок действовали как хорошее вино — цвета становились мягче, воздух прозрачнее, хотелось обнять всё живое.

Вошедший в юрту Азамат поставил на стол мясные деликатесы, протянул руку каждому из мужчин, на Мээрим даже не взглянул. Мээрим почувствовала, как загорелись её щеки. Смешно было обижаться на ребёнка, но почему-то было обидно. Ведь вчера они вместе гладили и тискали новорожденного ягнёнка. Мээрим до сих пор помнит запахи и мягкие завитки на боках овечьего сына. Ягнёнок едва стоял на своих тонких ножках и смотрел на Мээрим удивлёнными глазами.

¹ Летнее пастбище (*кирг.*).

² Традиционное блюдо — своего рода пышки из теста, сваренные в масле.

³ Кисломолочный продукт, нечто среднее между сметаной, сладким творогом и сливочным маслом.

⁴ Хорошо (*кирг.*).

— Азамат, забери своего осла, что он тут стоит! — закричала женщина с улицы, и Азамат поспешно пошёл к выходу.

— Азамат, дашь прокатиться на своём ослике? — сама от себя не ожидая, спросила Мээрим, когда мальчик выходил из юрты. Он остановился, обернулся, неуверенно кивнул.

Мужчины обсуждали предстоящий поход в ближайшее ущелье, звали соседей с собой. Мээрим переводила, Николая соглашался на всё и сразу.

Перед походом смущённый Азамат подвёл к Мээрим своего молодого осла, передал поводья, вот, мол, бери. Мээрим погладила осла по голове, как собаку, поняла, что не знает, как к нему подступиться, но идти на попятную было поздно — Азамат стоял поодаль и наблюдал за её действиями. Николая достал телефон и показал ей большой палец. Мээрим неуверенно вставила ногу в стремя, ухватилась за край седла и, чуть подпрыгнув, перекинула другую ногу через седло. Сидеть на осле было весело, Мээрим засмеялась и ещё раз погладила осла по голове.

— Как его зовут? — крикнула Мээрим Азамату, но тот только приподнял плечи. Николая обошёл осла и сделал по кадру с каждой стороны.

— Жакшы! — повторил он несколько раз и поправил свои красивые, вьющиеся волосы.

Мээрим видела, как Азамат управлялся с ослом, и попыталась повторить его действия: натянула поводья, сказала «чу», чуть ударила ногами по бокам. Осёл стоял как вкопанный и непонятно куда смотрел.

— Бей сильнее, — крикнул кто-то весёлый из-за спины Мээрим, и осёл вдруг сорвался с места. Мээрим от страха натянула поводья, осёл огрызнулся и помчался вниз по склону к реке. Мээрим охватил ужас, она не могла ни крикнуть, ни изменить траекторию движения сумасшедшего зверя. Впереди бурлила река, приближались острые камни, осёл свернул к отвесному рву. Мээрим зажмурилась, ожидая неминуемой гибели.

— Вынь ноги из стремени! — донёс до неё ветер чей-то голос. Не открывая глаз, Мээрим, высвободила ноги из железных карманов, и через секунду ощутила невесомость. Открыв глаза, она увидела себя сидящей на чёрном коне рядом с незнакомым мужчиной. Конь сбавил ход, остановился. Мужчина пружинисто прыгнул с коня, протянул руки к Мээрим, спустил её на землю. И только оказавшись на земле, Мээрим почувствовала ватность ног и острую боль в рёбрах.

— Спасибо, — сказала она и мешком осела на траву. Мужчина посмотрел на неё сверху вниз и ничего не ответил. К реке бежали женщины, дети, Николая.

— Ты в порядке? Всё хорошо? Что это вообще было? — тараторил Николая и целовал её в висок. Женщины охали и ругали осла.

— Он не специально. Это он голос Авлана-байке услышал и испугался, — оправдывал осла Азамат. Осёл стоял у реки и шевелил ушами. Мужчина на чёрном коне ускакал за горизонт.

2

В ущелье пошли двумя группами: впереди пятеро молодых мужчин с тяжёлой фототехникой, за ними две грузные американки с палочками для трекинга, крашенная блондинка с селфи-палкой и Мээрим с Николая.

Солнце стояло в зените, склоны были усыпаны эдельвейсами, облака плыли, как большие парусные лодки, прямо над головой парили огромные птицы.

Елена Севрюгина

В заводной сердцевине

* * *

ничего не исправишь
онемела рука
пианино без клавиш
превращается в шкаф
не стучат молоточки
строй не держат колки
и доходишь до точки
обнищанья строки

духи музыки ныне
не с тобой говорят
в заводной сердцевине
не гудит звукоряд
так попавшее в невод
виртуальной тайги
мимикрирует небо
до вороньей лузги

вместо памяти лета
вместо слов сухостой
нет ни смысла ни света
в деревяшке простой
и вздыхаешь печально
у казённой стены
пригвождённым к молчанию
инструментом больным

Севрюгина Елена Вячеславовна — поэт, литературный критик, филолог. Родилась в 1977 году в Туле. Окончила в 2003 году аспирантуру Московского педагогического государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент. Автор публикаций в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Урал», «Интерпоэзия» и других. Редактор отдела поступлений международного журнала «Гостиная». Живёт в г. Мытищи.

* * *

Алексею Черникову

мимолётный ангел лей елей
 выдувая воздух из щелей
 мир взрывая флейтой родниковой
 питерской серебряновековой
 затопи земли крошечный зной
 черноречной правдой ледяной

на крыле литейного моста
 незнакомый взгляд из-под зонта
 прелести его не убивай но
 с гумилёвским грохотом трамвайным
 город твой — архангельский приют
 что тебе архангелы поют?

что темнеют храмов купола
 что родная улица мала
 как ни надевай а всё не к месту
 спят провинциальные невесты
 стих бежит по миру босиком
 сигаретным кутаясь дымком

свет его печален — почему?
 что там прозревается сквозь тьму?
 кто шагает в венчике ли в шапке
 словомир укачивая шаткий
 золотой с серебряным в одно
 тонкое сошьётся полотно

мимолётный ангел лей елей...

* * *

заступаешь за линию дня —
 за окном выключается свет...
 я пишу — ты не видишь меня,
 отвечаешь — не вижу ответ...
 кто заметит, который из двух,
 это странное свойство помех,
 где слова разбиваются в пух,
 а потом превращаются в снег
 или в рой заводной мошкары...
 попадаешь, не в силах взглянуть,

в это странное поле игры —
 есть ли рядом с тобой кто-нибудь?
 вдруг подаст тебе призрачный знак
 твой двойник на другом этаже?
 тишина, занавеска, сквозняк —
 до смешного банальный сюжет,
 но в конце размыкается круг,
 и сценарий уже не спасти —
 остаются дыхание и звук,
 и ещё не дописанный стих...

* * *

P. C.

слово твоё ледяная страда
золото в снежном сугробе
не убывает вода и вода
льётся по стороны обе
чёрной лисой ускользает во тьму
и оседает на веки
знаю его посвятишь никому
в новом неведомом веке
слово открытое настезь окно
(мысль о побеге была ведь?)
знаю наверное только оно
сможет меня переплавить
перекроить в перелётные сны
скромные будни поэта
чтобы бежать от вины до волны
в ленту до самого лета
слово которое совершено
вдрогнет молитвенной нотой
и упадёт животворным зерном
в тёплую почву блокнота

* * *

Находясь меж небом и землёй,
Дышим мы привычно, неприметно.
Но испуг, обещанный водой,
О себе напомним непременно.

Борис Фабрикант

когда к тебе, уставшей и седой,
придёт испуг, обещанный водой,
ты будешь знать, что всё уже случилось,
что берега сошлись в одно звено,
безмолвное, беспмятное, но
вчерашний город стал неизлечимым

там, где стоял вчерашний человек,
безмолвно прозревая тёмный снег,
на беспокойном облаке идущий —
чужих ветров беспмятные кущи
и голоса, плывущие к весне

и новый век прожить уже легко,
но разве суть зависит от веков?
когда, твоим дыханьем оживлённый,
знакомый город стряхивает сон
стеклобетонных человечьих сот
и серый заменяет на зелёный

а ты в нём проступаешь до конца —
загадкой, мифом, отблеском свинца,
медовым саженцем, волшебной
чечевицей,
и не дай бог лишиться очевидца —
хранителя неявного лица

на тёплом дне останутся следы,
иди вперёд, но избегай воды,
хоть никому не избежать воды,
ни одному не избежать воды
ни света...
ни испуга...
ни беды...

Анна Лужбина

Пять историй про воровство и другие рассказы

1. Как у Володи украли что-то

Каждый вечер перед сном Володя записывал свои идеи для того, чтобы издать книгу и стать философом. Идей было много.

Например, в последнее время Володя часто стоял на мосту и смотрел на Москву-реку. Про неё у Володи была такая идея: Москва-река — река мудрости. И пускай от воды пахнет тёртыми шинами, свежим асфальтом и пыльной дублёнкой, мудрость — она такая. Надо только быть внимательным.

Ведь иногда Москва-река улыбалась. Серый цвет покрывался золотой корочкой солнца, в каменный серый бок входила радуга.

«Видит только тот, кто смотрит», — записывал Володя.

Но он никого не обманывал, он правда стоял на мосту, мечтал, и смотрел, и видел, и в один день он выловил из воды денежную купюру. В другой увидел в Москве-реке рыбину, похожую на акулу. А ещё по Москве-реке плыл корабль, и от него отлетел розовый шарик, и Володя его почти смог поймать. Шарик полетел в небо, и там было написано что-то про любовь и свадьбу.

А как-то раз Володя так стоял и видел только серую тучу в небе. Но потом обернулся и заметил девушку, она ласково улыбалась Володе. Всё так же глядя на него, она загадочно поправила волосы, и будто бы всё это не просто так.

Она улыбнулась ещё раз, и ещё, но как-то немного по-другому. Неожиданно расстегнула пуговицы рубашки, и Володя увидел белое кружево нижнего белья, а потом она повернулась к нему спиной и спустила пиджак, обнажив плечи.

Розовый шарик в небе, розовый шарик. Только посмотри. Счастлив тот, кто видит, кто всё подмечает.

Девушка повернулась снова к Володе, и он решил улыбнуться ей, но её лицо уже было такое же, как Москва-река. Когда ни солнца, ни радуги, только серо-зелёная водица. И девушка застегнула рубашку, спрятала белое кружево, но даже с этим своим лицом она побежала к Володе, и он раскрыл ей объятия.

Лужбина Анна Андреевна родилась в Москве в 1991 году. Окончила философский факультет РГГУ. Лауреат литературного конкурса «Русский Гофман».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 9.

И она проскользнула мимо, как вода, едва коснувшись его левой ладони, и за спиной Володи послышался смех. Володя обернулся: они смотрели на экран фотоаппарата, девушка и её подруга, и обе не видели Володю.

И ему сразу же захотелось понурить голову, бежать по своим делам, спуститься в метро и читать глупую газету. Перед сном в тот день он решил не записывать свои идеи, а просто лечь спать, и всю ночь ему снились плохие сны, а наутро он проснулся с чувством, что у него что-то украли.

2. Дыра

Костя ковырял зубочисткой в зубе, но вытаскивать из него было нечего.

— А мы вернулись вчера после дачи в город, а тут прорвало трубу, Костичек. Воды на весь коридор. Как твоя учёба?

Медсестра в Костиных зубах разбираться не стала. Сказала: быть может, болит из-за остатков пищи. Сказала: пускай родители везут в поликлинику или оплачивают выездного врача сюда, в пансионат. Если не хотят возиться.

— Мы, может, приедем в следующую субботу, если получится. Привезём тебе что-нибудь сладкое.

Костя держал телефонную трубку у щеки и кивал. Попрощавшись, вышел на тёмную лестницу, ведущую к запасному выходу. Лестница подсвечивалась луной, казалась чужой и подвижной.

У выхода, раскинув ноги, спал охранник, но от звука шагов проснулся.

Костя протянул ему тысячную купюру.

— Что, гулять? — охранник закашлялся.

— Да с пацанами посидим тихо-мирно. И дырка в зубе болит, надо подлатать.

— Хреново дело?

— Хреново.

— Ты зубы береги, не дери. Лучше пломбу ставь.

Костя кивнул.

— А пока нет пломбы — приложи туда мочёный в спирте чеснок. Давай, гуляй.

Костя вышел во двор. Со скрипом отъехали решётчатые ворота. Впереди широкая грунтовая дорога, тёмная, как под закрытыми веками. Моргай не моргай.

Через час Костя сел в полупустую электричку. Щёку с большим зубом прислонил к стеклу. Скосив глаза, смотрел, как проносятся мимо деревья, линии проводов, светящиеся квадраты окон.

С Волчарой они встретились у сломанного фонаря. Он беззвучно вышел из черноты и хлопнул Костю по плечу.

Они прошли немного вперёд, пока не упёрлись в деревянный забор. Волчара подтянулся и перепрыгнул на другую его сторону. Костя прыгнул следом, приземлился на корточки, в рыхлую землю. Встав на ноги, огляделся по сторонам: за белеющей в темноте берёзой — двухэтажный дом. Тихий, тёмный дом, будто бы развёрнутый к ним спиной.

Где-то завывла собака.

— Это у соседей воет, здесь собаки нет, — прошептал Костя.

— Мне главное, чтобы людей не было.

— В этом я уверен.

Они подошли к дому ближе, заглянули в окно. Внутри было так же черно и тихо.

— Теперь учись, — шепнул Волчара и покрутил перед лицом Кости отвёрткой, — засекай время.

Костя начал считать, но сразу же сбился. Дыра в зубе ныла беспрерывно. Волчара вставил отвёртку между рамой и створкой, поближе к замку. Тихонько надавил, незаметно двигая створку от рамы всё дальше. В замке щёлкнуло, и окно мягко открылось. Белая ситцевая занавеска вытекла из окна, как слюна.

— Сколько?

— Сорок секунд.

— Нормально. У тебя должно быть сорок пять.

Внутри дома Волчара достал фонарик и, прикрывая свет крупными пальцами, огляделся. Костя увидел, что безымянный палец у Волчары без одной фаланги, и ему стало стыдно за свои здоровые пальцы.

— Ты раз за жильцами следил, может, знаешь, где тут что?

— В спальне в комодке сейф, ключ рядом на блюдечке, — Костя с трудом открывал и закрывал рот. — В шкафчике, у пианино, шкатулка, там золото, ещё изумрудные серёжки должны быть. На кухне в верхнем ящике наличные деньги...

Волчара направил свет фонарика Косте в лицо, и тот зажмурился.

— Не ожидал, — сказал Волчара. — Сегодня пройдёт нормально — возьмём на работу. Кухня где?

Костя мотнул головой влево. Проследил, как Волчара исчез в темноте дома. Языком погладил зубы. Протянул по сторонам руки, нащупывая стены. Стены привычные, а вот пальцы казались теперь чужими, нечеловеческими. Костя нащупал дверь в свою комнату, за которой не было теперь ничего ценного: ни денег, ни украшений.

На ощупь он дошёл до родительской спальни, включил ночник в виде полумесяца. Глаза жгло от темноты, руки были испачканы землёй, рот горел от боли. Костя подошёл к комоду, открыл скрипучую дверцу. Из комода пахнуло мамиными духами.

— Костичек... — слышался будто бы мамин голос, прямо из комода, и снова скрипнула дверца.

Костя потряс головой, но мамин запах застрял внутри, как наказание.

— Костичек. Что ты здесь делаешь?

Он медленно обернулся. В кровати лежала мама. Рядом с ней — незнакомый мужчина. Мужчина натянул одеяло повыше, спрятался с головой, но Костя успел увидеть его волосы ёжиком и длинную сросшуюся бровь.

— Почему ты не в школе? — прошептала мама.

— Мне надо вылечить зуб, — ответил Костя.

3. Безопасность

Он увидел её у родника в окружении крымских сосен. Рыжую и лохматую, с дурацкой ленточкой вокруг шеи. Она набирала воду в пятилитровые бутылки и улыбалась, будто святая.

— Вы откуда идёте? — спросила она сразу же, как только он подошёл ближе.

— Из Ласпи. А вы?

— А я живу в инжире.

Он всмотрелся в её улыбку: зубов у неё было меньше, чем нужно.

— И как вам там? Не влажно? — у него было хорошее настроение.

— До декабря хорошо. Потом надо утепляться, закрывать от ветра палатку...

— Так у вас палатка в инжире? Пойдите. Пляж «Инжир»?

- Конечно, пляж.
- И как вам «Инжир»? Я думал там уже никого нет, не сезон.
- Если бы! Каждую неделю меня грабят, целая куча людей. Но теперь воровать уже нечего. Бывает, приходят, осматривают всё что есть и уходят...
- Она театрально выдохнула.
- Так, может, вам поменять место? Или, ну, не знаю, — он кинул на неё осторожный взгляд, — вернуться в город?
- Не поняла.
- Ну, чтобы вас не грабили...
- Так говорю вам: воровать уже нечего. Вы понимаете? Будто бы не понимаете. Воровать уже нечего. Нечего! Теперь я, наконец, чувствую себя в безопасности...
- Он наполнил свою бутылку, и они попрощались. Он спустился вниз, поближе к пляжу, и сразу же увидел палатку, украшенную гирляндой из шишек и ленточек. Шумело море, пахло хвоей и солью.
- Он посмотрел на море, потом залез в палатку. Порыскал по углам, похлопал рукой под спальным местом. И правда, воровать у неё было нечего, один хлам.

4. Уле рассказывают историю

- Уля раскатывает в ладонях пластилинового червяка.
- Ты меня слушаешь? — спрашивает мама, постукивая пальцами по столу.
- Слушаю.
- Можешь пока не лепить?
- Уля недовольно откладывает червяка в сторону. Мама кивает и говорит теперь так, будто бы читает Уле книжку:
- На небе сидят ангелочки. Отдыхают, смеются, чай пьют, и всё такое... Смотрят на землю, и если кто-то им нравится, то они забирают его к себе.
- Я им нравлюсь?
- Нет! Ты ещё для них маленькая. Не перебивай, пожалуйста.
- Уля смотрит в мамин правый глаз. В нём, как в блюдце, собираются слёзы, но не вытекают, а остаются в глазу.
- А тебя могут забрать?
- Могут, но когда ты будешь уже взрослой, а я буду старой.
- А старые вещи они тоже забирают?
- Давай без глупых вопросов. Вчера они летели над нашим городом...
- На вертолётё?
- На крыльях, это же ангелы.
- А ты их видела?
- Не видела.
- Ты смотрела новости?
- Не перебивай!
- Мама вроде бы сердится, но потом выдыхает, прикрывает глаза. Стучит снова пальцами. Из-под правого века с жёлтыми ресницами выскакивает слеза, ползёт мимо родинки на щеке, скатывается в рот.
- Вчера ангелочки летели над нашим городом и увидели бабушку. Решили, что...
- Они что-то украли у бабушки?
- ...Что она им понадобится, и унесли её на небо. Поэтому бабушка теперь на небе с ангелочками.
- Они что, украли бабушку?

— Нет, они унесли бабушку на небо, чтобы она тоже стала таким же ангелом. Они теперь все живут в раю.

Мамины пальцы белого цвета. Стучат по столу, ждут ответа.

— Нам надо рассказать всё это милиционеру, — говорит Уля. — Тогда бабушку вернут из рая, а ангелочков посадят в тюрьму.

Пальцы сжимаются в белый кулак. Кулак бьёт по столу резко и громко, но после удара становится тихо.

5. Четыре с половиной воспоминания

— Я прячусь под кустом смородины, вокруг меня зреют ягоды. По ягодам ползают жуки. Сначала я играю, но мне очень хочется спать. Сильные руки поднимают меня над кустом. Заспанного, относят в беседку и накрывают прохладной простынёй.

— Есть.

— Мы ждём автобус. Из автобуса выходят десятки людей, но у простых людей лица ненужные. А потом становится видно дедово лицо, оно выделяется. Появляется чувство найденного. Когда долго ищешь что-то в своей комнате, а потом находишь... Как всё-таки это точно сказано!

— Есть.

— Готовлю свою первую яичницу. Толсто режу колбасу. Чем больше колбасы — тем лучше. Сковороду еле могу поднять. Колбаса обжаривается до чёрных бочков, после я выливаю в сковородку яйца. На пол вытекает немного белка. Желток растекается. Потом я ставлю раскалённую сковородку с яичницей на деревянный стол. На этом месте ещё много лет потом будет лежать ажурная салфетка...

— Вычёркивайте.

— Маруся сидит на мостике через реку, свесив ноги. Под ногами видно, как плывут рыбы. Она засматривается, с ноги падает в воду туфелька. Туфелька уплывает вместе с рыбами, а Маруся смеётся...

— Вычёркивайте.

— Сидим за столом, наевшись малинового мусса. Я поднимаю руку, а из кожи торчит жало. По столу, к малиновому муссу, ползёт умирающая пчела.

— Мусс вроде помню, пчелу — вычёркивайте.

— Дочь сидит на подоконнике. Окно открыто, ветер дует через комнаты. За её спиной кусок розового неба, а под небом — сад. Дочь оборачивается, коса у неё хвостом торчит из-под футболки. Я подхожу ближе, вытаскиваю косу. Дочке смешно и щекотно. Я говорю: надо закрыть окно, будет гроза. Только говорю это — сразу начинается дождь.

— У вас что же, дрожит голос? Вам не хочется больше читать?

— Не обращайтесь внимания. Надо закончить упражнение.

— Про косу — есть.

— Седьмое. Всей семьёй лежим на пляже с тёмно-жёлтым песком. Над нами — гора, в которой тысячи ласточкиных гнёзд. Дочь говорит, что ласточки — крылатые муравьи.

— Вычёркивайте.

— Восьмое. В парке не могу понять, как вернуться домой. Смотрю на развилку тропинок, и любая из них кажется незнакомой. Пытаюсь вспомнить хоть что-то, но внутри только страх и отчаяние.

— Вычёркивайте. Уже не помню.

— Девятое. Размышление. Раньше думал, что память стирает то, что не нужно. А как быть с нужным? Когда исчезают самые важные воспоминания — я не понимаю, что именно во мне остаётся. Я не знаю, что такое «я».

— Есть. Не переживайте так сильно, дорогая, прошу вас.

— Получается, из двадцати воспоминаний, с которыми мы начинали работать, сейчас с нами четыре с половиной. Три четверти воспоминаний исчезли всего за две недели...

— Математика памяти. То плюс, то минус. Вам очень идут эти бусы, к белому цвету халата — очень подходит.

Он взглянул на неё внимательно. У неё на половину лица — родимое пятно. Сразу видно, что она особенная. Жалостливая, добрая...

— Хватит уже этой математики, — говорит она. — Вас нужно оставить в покое... Судебный стресс вам противопоказан. Какие злые кругом люди. Бандиты ходят на свободе, а к больному человеку лезут...

— Я ведь правда ничего не помню из того дня, — говорит он и закрывает руками лицо.

— Я решила, что буду защищать вас в суде.

— Нет-нет, Машенька, нет! Оно того не стоит. Тюрьма так тюрьма.

— К словам медицинского работника всегда прислушиваются. Я не могу молчать, сидеть сложа руки. Да и это смешно: вам ведь ничего не нужно. И уж тем более не нужны были эти грязные деньги.

— Машенька... Спасибо вам. Вы — моё настоящее.

Он снова закрывает глаза, чувствует, как она кладёт свою мокрую руку на его лоб, а потом уходит. Он лежит так какое-то время и, когда слышит хлопок двери, — переворачивается на бок. Задумавшись о суде, он насвистывает мелодию из «Джентльменов удачи».

Зона покоя Укок

Звёзды в небе, вокруг — пустота, безвременье. Вдалеке немного огоньков-окон, длинные тени невысоких домов, под ногами — грязь, подвижная и живая. Вокруг медленно ходят лошади с заплетёнными в косы хвостами, овцы, козы, лёгкие люди, невооружённые.

Ехать дальше не на чем. Среди голосов людей и животных шумит речка Козубай. Пахнет мокрыми камнями, талым снегом, рыбьей чешуёй. В горах днём лето, а ночью зима. Место для палатки слишком людное, потому опасное.

Олень идёт к реке, набирает ледяной воды, видит рядом чьё-то крыльцо и садится на ступеньки. Все чёрное, и он хватается эту черноту рукой: замёрзшее ведро, удочки-ветки, затвердевшая сеть. Рыбацкий, видимо, домик.

Звёзды кружатся, собираются то в костёр, то в печь, летят горящими пепелинками. Олень поднимает руки, чтобы погреться, но вдруг открывается дверь, за дверью — женщина, в её руках фонарик. Она хочет, наверное, впустить Оленя, но смотрит на его квадратное лицо, на голые поднятые руки, на щёку со шрамом. Закрывает дверь, а через минуту открывает снова, протягивает Оленю одеяло, хлеб, кувшин кумыса. От одеяла пахнет шерстью и звериной свободой, от хлеба — дымком.

Просыпается Олень через несколько часов. Небо над головой как неспелая слива. Звёзды оставили только следы. Вдалеке чуть заметны горные шапки с кольцами облаков.

Олень допивает кумыс, доедает хлеб. Достает карту, сверяется, хотя и так знает, куда идти. Дорога на юг, через Чуйскую степь, развороченная колёсами и копытами, день пути. Там погранзастанва, которую надо обойти стороной, а дальше по берегу реки Тархата, к перевалу Тёплый Ключ. После Тёплого Ключа — Укок, берег священной реки Ак-Алаха. Там нужно найти место, которого река боится.

За спиной скрипит дверь, Олень перестаёт дышать. Медленно оборачивается — сзади стоит малыш лет пяти, краснощёкий, чумазий. Он смотрит на Оленя с любопытством, жуёт огурец.

— Мальчик, есть ещё огурцы? — шепчет Олень. — Огурцы в дороге нужны: и вода, и еда. Идти мне долго, несколько дней, если без остановки...

Олень улыбается, чувствует, как ползут вверх брови, морщится лоб. Малыш кивает, возвращается в дом. Олень заглядывает внутрь: в доме серые сумерки, тихо. Под детскими босыми ногами мягко скрипят половицы. Из-за угла выглядывает кот с рваным ухом. Малыш выходит опять, беззащитный, бесстрашный, в футболке, как в мешке, с десятком небольших огурцов. На шее у него кожаный ремешок с белым пером и прозрачным камушком.

— Ты ведь знаешь про принцессу Укока? — спрашивает малыша Олень, переключая огурцы. — Был в тех местах? Я туда иду.

— Про неё теперь весь мир знает.

— Скоро она вернётся в землю.

— А ты кто такой? — спрашивает малыш. Всё лицо у него измазано соком, на щеке огуречное семечко. — Богатырь? Шаман?

— Я похороню Очы-Бала там, где она и лежала тысячи лет. Сделаю всё, чтобы её не нашли снова, буду защищать её покой...

Малыш подходит к Оленю, поднимает голову, неуверенно выпрямляет руки. Глаза у него большие, блестящие. Он будто хочет обнять Оленя, и Оленю от этого беспокойно. Потом становится слышно какой-то неясный шум, и Олень отходит в сторону, а малыш прикрывает скрипучую дверь. Внутри дома гулкие голоса, шелест. Через щель выбегает кот, прячется под крыльцо.

Олень взваливает на спину рюкзак и двигает дальше. Дорога — то грязь, то каменные глыбы, всюду змейками текут ручьи. Олень вспоминает: змейки ищут проход в нижний мир, связывают его с миром средним. Солнце пытается пролезть сквозь дыру в плотной туче из мира верхнего. Из-за тумана не разглядеть ничего, что дальше, чем в метре, и солнце окрашивает воздух в песочный цвет.

Олень сворачивает с дороги, здесь нужно идти аккуратнее. Обойти пограничников, сделать крюк, но кругом болота. Иногда кажется, что нога ступает туда, где должна бы увязнуть, а встаёт почему-то твёрдо. Будто бы кто-то снизу, из-под земли, держит Оленев сапог.

Через несколько часов туман рассасывается, и видно, как летают хищные птицы, внимательно глядя вниз. Под их взглядом разбегаются грызуны, а там, где больше воды, ходят цапли. Серое пушистое пятно, кажущееся валуном, срывается с места, трусит в сторону. Видимо, какой-то дикий кот, может, манул.

Вскоре Олень останавливается, смотрит вокруг. Нет ничего: ни гор, ни деревьев — ничего выше его самого. Тихо так, будто сидишь под водой. Цапля в болоте медленно поднимает тонкую красную ногу. Опускает клюв в воду, и Олень слышит, как плещется рыба. Он подходит совсем близко, но цапля его не боится, не смотрит, будто Олень — это трава или камень, не человек, а призрак.

В рюкзаке кроме огурцов несколько банок тушёнки и что-то ещё по мелочи, надо искать еду самому, как ищут её здесь звери. Хоть и есть почему-то не хочется, но ведь надо же есть. Если выйти к горам — там должны быть куропатки, гуси, ещё

какие-нибудь птицы. Олень проводит рукой по голове: по небритому лицу и затылку. В пальцах остаётся седой волос, да и борода растёт будто бы белая, а не чёрная, как раньше.

Олень идёт вперёд, отдыхает немного, потом снова идёт вперёд, смотрит вокруг. Всё одинаковое: одни и те же камни, ровная земля, ни единого дерева. Ноги давно уже просят отдыха, но негде спрятаться. Никогда ещё Олень не был в таком открытом месте — от степи болят глаза, жмёт виски. Мать говорила: Укок — ладони земли, ни единого волоса.

Олень идёт и идёт, много часов идёт, потом останавливается у валуна. Здесь можно встать на ночь, тем более что снова начинается дождь, колючий, со снегом.

Олень ставит палатку, залезает в неё, как в нору. Достает из рюкзака штык-нож, кладёт его рядом с собой вместе с камнем потяжелее. Леший говорил: никогда не спать без оружия, никогда не спать слишком крепко, а то живые потом не добудятся.

Олень достаёт письмо, от письма пахнет ладаном, и запах тянет за собой память. Так пахло в платяном шкафу, где он прятался маленьким, глядя в замочную скважину на обои в голубой цветочек. Иногда засыпал в этом шкафу, и вот теперь засыпает так же, спрятав лицо.

* * *

«Тогда я села в собаку. Собака много чесалась, чтобы от меня отделаться. Нас привели к ветеринару. Блох нет, говорят, а постоянно чешется, что не так?

У ветеринара мы увидели девочку с хомяком. И вот я в девочке, а девочка на ВДНХ, у Золотого колоса. Едим клубничное мороженое. На бумаге из-за этого пятна, письмо пахнет клубникой. Буквы стараемся писать взрослые, но девочка не слушается, поэтому каждая буква в неправильную сторону. Чувствует, что я в ней сижу. Хорошая девочка, вырастет — будет работать в таможенной службе, большой начальницей будет».

Зелёная спина вперёди отходит в сторону. Олень прячет письмо в карман. На стене висит ветхая карта Кавказа. Напротив за столом, как за партией, сидит квадратный Леший и чешет ухо. Правое плечо ниже левого, важный человек, гранатомётчик.

— Куда поскачешь? — Леший косит улыбкой вправо, к низкому плечу.

— В Укок, — Олень скидывает на стол всё тяжёлое, сваливает патроны. Тело сразу становится лёгким, будто снял собственные ноги. Опустевшие штанины висят пузырями.

— Куда-а-а?

— Укок, на Алтае.

— Ты ж с Новосиба.

— Родня с Алтая.

— Смотри, не кокни никого в своём Укоке. На юге тебе можно всё, а на севере ничего нельзя, ёма, вот всегда и возвращаются. Здесь тебе всё можно, слышишь? Если вернёшься — всё будет можно.

Леший говорит быстро, хмыкая снова вправо. Олень не знает, зачем здесь смеяться. Чаще всего он смеётся над анекдотами, когда точно понятно, где шутка началась и где кончилась.

«Потом я села в старуху-соседку. У старухи дома всюду иконы. Пахнет как в церкви, мне нравится, но толку от этого ноль. Под иконами сидят черти. Копыта вытянули, зубами трещат, рожками друг о друга трутся. Когда старуха поёт молитвы — черти ей подпевают».

— Ты возвращайся на новый контракт, ёма, здесь твоё место. — Леший лезет под парту и вытаскивает коробок с бело-сине-красной лентой. — А пока держи гумпомощь от москвичей, привет им передавай.

Олень берёт коробок, поворачивается спиной. Все вокруг с оружием, а у него только штык-нож, зато всегда под рукой. Даже пограницы в Моздоке не отбирают всё до конца. Знают: без оружия — как без зубов.

На выходе из штаба-сарая сидит трубач, обнимает свою трубу, как женщину. Вытянул ноги, на сапогах — килограмм глины, говна, грязи. Трубач — пьяница, а ещё вор: ворует спирт, и никто его ни разу не поймал, хотя других ловили. Олень часто разговаривает с трубачом, ведь раз человек ворует, то, скорее всего, не стучит.

— Зачем тебе Алтай? — тоже спрашивает трубач, щурясь от солнечного света. — Тысячи километров отсюда. Ехать будешь месяц, через всю Россию.

— Родня у меня с Алтая. — Олень открывает гумпомощь от москвичей: вязанные перчатки, халва в шоколаде, значок с флагом, открытка с детским рисунком.

— Живая хоть родня?

— Живая, — Олень улыбается. — Письма мне пишут. На вот, понюхай. Клубника.

Трубач берёт письмо, нюхает, растерянно смотрит на Оленя. Потом смеётся, засовывает письмо Оленю в карман, хлопает его по плечу.

«Теперь важные новости: от старухи-соседки я сяду в её внука, мы поедем в Горно-Алтайск, будем сплавляться там по реке. Лодку подкинет, мы стукнемся головой о камень, упадём на дно. Там живут рыбы, они нерестятся в священной реке Ак-Алаха. Я сяду в такую рыбу, через несколько недель буду на месте, ещё и нарядная. У этих рыб к нересту розовеет чешуя».

До Москвы добираться на автобусах, на самолёте, на скрипучем поезде без белья. От Казанского вокзала билет покупать за деньги, а потому уже всё по-другому. В поезде Москва-Бийск подушка свежая, непривычная, в поезде можно ехать долго, без тошноты. В купе не солдаты, а мужики-работяги — едут домой, будут выходить по очереди на тёмных сибирских станциях. Когда встречаются с Оленем взглядом, отворачиваются: пялятся вниз или друг на друга. Олень и без работяг знает, что лицо у него злое, квадратное, как у Лешего. Отросшие волосы чёрные с белыми пятнами, на щеке шрам, ладони в ожогах — ни одной линии.

Работяги всю дорогу шелестят игральными картами, гремят подстаканниками. Колёса стучат. Все куда-то едут, у всего есть цель. Запах еды смешивается с запахом поезда, постельного белья, немытого тела.

«Следующее письмо будет ждать тебя в газетном киоске у автовокзала в Горно-Алтайске. Там продавщица днём газеты продаёт, а ночью превращается в голубя и летает над городом. Она знает, кто ты такой. Будет возможность — покроши ей хлеба».

Работяги играют, Олень спит. Через сон открывает иногда глаза: в окне за шторками мелькают ели, и чем дальше от Москвы — тем ели становятся темнее, а облака над ними всё легче, как птичий пух. Всё меньше света внизу, всё больше — сверху: в звёздах, в солнце, в луне. Гремят колёса. То ночь, то день. Скрипит поезд. Жарко. Шелестят карты. Шепчутся мужики. Олень открывает окно, ветер дует в лицо. Пахнет теперь и елью, и цветущей сиренью, и какой-то особенной летней сыростью.

В Бийске к Оленю подходит пузатый мент, трёт потные ладони, хрустит пальцами. Спрашивает, куда дорога. Говорит Оленю, что в Укоке чума, у шаманов чума, у усликов — тоже. Для Укока нужна прививка, разрешение на посещение места. Территория пограничная: рядом и Китай, и Казахстан, и Монголия. Олень кивает и идёт дальше.

Теперь на автобусе до Горно-Алтайска. Автобусы старые, полумёртвые, но ходят часто. Ехать почти весь день, и желающих ехать много: в Горно-Алтайск поезда

не ходят. Мимо дороги грохочет река Катунь. На одном берегу едут люди на автобусах и машинах, на другом — на лошадях и повозках. А через сотни километров по Катунь летит рыба с розовой чешуёй.

В газетном киоске, и правда, новое письмо. Продавщица глядит удивлённо, глазки маленькие и чёрные, руки красные. Расчесала, видимо, человеческое тело, куда лучше быть голубем, легче. Олень берёт письмо, поднимает голову: в небе облако, как птица, раскрыло гигантские крылья, в клюве держит солнце.

Олень садится на бордюр, прижимает письмо к лицу. От письма пахнет как в церкви — ладаном и старым сундуком. Все буквы в неправильную сторону: старуха-соседка тоже непослушная.

«Давно не была так близко к родному месту, давно не была так близко к тебе. Скоро мы будем дома».

Олень гладит письмо, и оно становится тёплым, как кожа. Перед тем, как уйти, он возвращается к продавщице, крошит в блюдо для мелочи хлеб.

До села Беляши автобус только послезавтра, но довезут туристы на белом УАЗике. Туристы расслабленные, пьяные, в яркой одежде. Спрашивают Оленя, и почему-то почти без страха глядя в глаза: зачем Укок? Там опасно, говорят, там чумные суслики, мёртвая трясина, голодные медведицы стерегут медвежат. Укок, конечно, зона покоя, так его называют, заледеневшее кладбище. Сколько нашли там уже древних могил, принцессу Укока нашли и много разных других мёртвых принцесс и принцев. Место сильное, конечно, его любят журналисты, эзотерики, психи. Говорят, что, когда стоишь и смотришь на степь и горы, — чувствуешь особенную энергетику, так написано в каждом путеводителе по Алтаю.

И протягивают Оленю рюмку, когда дорога становится чуть ровней, будто для того, чтобы он ничего не отвечал — или, наоборот, выпил и сказал лишнее. Олень смотрит в окно, ему хочется что-нибудь объяснить. Война стёрла в голове всё, а истории про Укок оставила. Мать рассказывала ему про Укок, там прошло её детство. И про принцессу Укока, Очы-Бала, она рассказывала ему ещё до того, как написали об этом газеты.

Олень выпивает две рюмки, потом объясняет: богатырша Очы-Бала спала во чреве земли, над её колодой цвела живокость, паслись овцы. Своим телом она закрывала крохотную дверку, через которую тёмные силы нижнего мира могут проникнуть в мир средний. Когда археологи разорили могилу, на Алтай пришли наводнения, голод, чума. Чем дальше открыт проход в нижний мир, тем больше зла в мире среднем. Наказывать надо археологов, не пускать их к святым местам, а всё, что разорили, — вернуть обратно...

Туристы молчат, отворачиваются. Потом кто-то говорит, что, может, и захоронят когда-нибудь принцессу Укока заново, сильно возмущена алтайская общественность. Но они, туристы, здесь ни при чём. И наливают Оленю ещё.

Больше не разговаривают. За окном становится всё темнее, только фары освещают дорогу. УАЗик качает из стороны в сторону, как лодку.

«Плавниками письмо не напишешь, так давай помолчим. Нет для моей бездомной души ни одного существа тебя важнее и преданнее».

* * *

Неясно, сколько Олень спит, как будто бы очень долго. Просыпается оттого, что снаружи палатки ходят копыта. Олень сжимает одной рукой камень, в другую берёт нож. Может, лошадь отбилась от стада и пришла к человеку?

Олень осторожно встаёт на четвереньки, подбирается поближе ко входу в палатку. Если кто-то заглянет, он сразу же ударит его по голове. Слышится рёв, похожий на ослиный, и мужской голос снаружи кого-то успокаивает.

— Кто здесь? — хрипит Олень.

— Чабан.

— Что тебе от меня нужно?

— Узнать, кто ты такой.

— Турист.

— А почему боишься? Туристы никого не боятся, даже медведя, а я не медведь, я человек.

Олень отодвигает ткань палатки, делает маленькую щёлку. В щёлке видно, что в отдалении стоит верблюд, гружённый мешками. Рядом с верблюдом — мужичок в вязаной шапке с помпоном, ростом едва ли Оленю до плеча. Оружия у него явно нет: лицо наивное, румяное, бестолковое. Вместо глаза — кожистая ямка. Одна рука держит красную уздечку верблюда, вторая болтается без дела.

— Мне просто надо одеться, — говорит Олень. — Я голый.

Мужичок улыбается, кивает, гладит верблюда. Верблюд переминается с ноги на ногу. У мужичка лицо загорелое, пережжённое, почти такого же цвета, как земля.

— Одевайся и выходи, есть молоко, есть сыр. Меня Петей зовут, а тебя?

Олень смотрит через щёлочку вперёд, на горизонт. Между горбов верблюда видно степь, а по степи как морская пена — гигантское стадо овец и ещё несколько верблюдов с тюками. От овец столько звуков, что неясно, как он из-за них не проснулся.

— Сейчас, — говорит Олень. — Мне снился плохой сон, от усталости.

Он прячет штык-нож в рукав, камень кладёт у входа в палатку. Выходит, сразу же закрывает лицо руками: глаза отвыкли от света, а здесь всё белое. И небо белое, и овечьи спины, и в воде отражается белое небо. Степь наполняется звуками: всё громче блеянье овец, топот маленьких ног, сопение верблюдов, перезвон колокольчиков.

— Плохо у тебя палатка стоит. Если будет сильный ветер — сдует, лучше ночевать в деревне или в машине, и вообще лучше от дороги так далеко не уходить...

Петя крутит головой, смотрит на Оленя то глазом, то кожистой ямкой. Скорее всего, не может понять, почему турист одет как охотник. А если Олень всё-таки охотник, то почему у него ни добычи, ни оружия, ни лошади?

— По голосу ты молодой, а похож на старика, странно, — рассуждает Петя, стягивая с головы шапку. — Ты если один — будь осторожен, я подробностей не знаю, но, говорят, пограницы ищут кого-то. Кто-то бродит по степи, но никто его толком не видел. Пограницы говорят, что чумной, туристы — что опасный, а я вот просто передаю всем новости. А шаманы говорят, кадук пришёл с берегов Енисея.

— Что значит «кадук»? — спрашивает Олень, опуская в рукаве штык-нож поближе к пальцам.

— Шаман-олень из неба. Я шаманам верю, конечно, но люди по деревне говорили, что лицо у него такое, что страшно. Ехал с туристами. Они же пограницам про него рассказали, что тот охотится на археологов. Благо их тут сейчас нет, говорят, Ак-Алаха выйдет из берегов, они все разбежались... Каша какая-то, короче, но в степи бывает всё, так как в степи не спрячешься, всё как на ладони... Так как тебя зовут?

— Алексей.

Петя смотрит снова на Оленя одним глазом, потом по-птичьи поворачивает голову. Уши у Пети торчком, голова как кувшин с ручками.

— У нас в народе есть имя внешнее, есть внутреннее, у тебя одно имя?

— Одно.

Петя поворачивается теперь спиной, подходит к своим тюкам. На верблюде сбоку — кожаный мешочек с разноцветным рисунком и маленький букет каких-то горных цветов.

— Это для жены, — уточняет Петя.

— А что же ты сам его не боишься? — спрашивает Олень.

— Кого?

— Того, кого погранцы ищут.

— Мне шаманиха предсказала долгожительство, в награду за потерянный глаз. У нас многие чабаны стараются от деревни далеко не уходить, а мне всё равно... Я знаю, что проживу ещё двести лет, так звучало предсказание. У нас в деревне шаманиха — мощная баба, её отец — человек, мать — страус...

Петя снимает мешок с верблюда, садится на землю. Выкладывает вяленое мясо, сыр, хлеб, бутылку с молоком.

— Угощайся, — говорит Петя. — Кем бы ты ни был, мне всё равно, так я тебе скажу. Я вижу, что ты хороший человек.

— Как видишь?

— Вот так, — и Петя поворачивается опять тем боком, где нет глаза.

— Сколько ещё идти до центра Укока? — спрашивает Олень. — Если без отдыха.

День?

— Здесь ты в обход границы придёшь, нехорошо. Поймают — оштрафуют. Для нас штраф — это настоящая беда, мы деньгами почти не пользуемся. Лучше вернуться.

— А мне всё равно.

Петя снова крутит головой. Олень приглядывается к коже на месте глаза, видит крошечное родимое пятнышко, похожее на зрачок.

— Тогда полдня идти, вряд ли больше. А зачем тебе Укок? Ты могилы не копай. Плохо это, копать могилы. Я это знаю. У шаманов нет веры, только знания, поэтому уж есть как есть. Могилы не копай, камни не двигай...

Вокруг них собираются овцы, и Петя улыбается, глядя на них. Улыбка у него белоснежная, как из рекламы. Олень крутит головой, чувствует себя окружённым. Но легче становится оттого, что что-то рядом выше земли, валунов, кустарников. Верблюжьи горбы, тюки, головы — всё разной высоты, как в городе.

— Приходи, Лёша, к нам вечером в деревню, наша шаманиха будет камлать. Завтра важный день, середина лета.

— Что будет делать?

— Петь, танцевать, бить в бубен, а мы будем прислушиваться. Знаешь, что значит «прислушиваться»? Это когда слушаешь сюда, слышишь то, что и так знаешь.

Петя бьёт себя ладонью в грудь, на глазах у него слёзы — то ли от солнца, то ли от чувств.

— Тогда мне здесь надо быть, — отвечает Олень. — Тогда я почти что на месте, дома...

Петя кивает, двигает по-детски стопами, протягивает Оленю хлеб.

— Ты знаешь, все, кого я тут встречаю, дают мне что-то, почему так?

— На такой земле иначе нельзя, — отвечает Петя, — каждый даёт то, что у него есть.

Потом он потягивается, встаёт на ноги. Залезает на верблюда, гладит его между ушей, шурясь на солнце.

— Пора нам, боюсь опоздать на праздник. Если надумаешь, ты приходи тоже, иди либо за овцами, либо по овечьим следам, не заблудишься.

Петя говорит, медленно едет вперёд. Овцы идут за ним на той же скорости, будто их тянут за невидимый поводок.

* * *

Письма Олень читает в памяти, и чем ближе он к цели, тем громче внутри голос, тем больше радости. Священная река Ак-Алаха с каждым часом пути всё шире, разливается в стороны змейками. Кажется, что и журчит всё громче, будто тоже радуется.

Наконец, Олень видит: река изгибается петлёй, окружает небольшой островок с треугольным камнем. На островке сидит суслик, но как замечает Оленя — сразу юркает в норку. Олень снимает разваливающиеся сапоги и ложится, прикладывая ухо к земле. Слушает, как скребётся растущая трава, как стучат лапками насекомые, как двигаются в сотне километров от него овечьи стада. Как Петя рвёт цветы, как ступают верблюжьи копыта, как шаманиха готовится к камланию.

Олень лежит так какое-то время, прислушивается. Потом чувствует, что вода пытается его проглотить. Он не сопротивляется, опускает в воду лицо, открывает глаза и рот. Розовые рыбы плывут в прозрачной воде, как стая птиц в небе. Рядом с ними бьёт горячий источник. Бездомная душа Очы-Бала просачивается внутрь живота через открытый рот, ласково щекочет, смеётся.

Олень идёт босиком дальше, земля мягкая, вода тёплая, внутри тела жар. Видит перед собой гору камней, у которых растёт живокость. На камнях красные узоры, вокруг них чёрные тропинки, внутри головы громкий шёпот.

«В честь праздника не будет ночи. Все души верхнего мира любят тебя. Зло затаилось, чувствует: пора возвращаться, тоже уходить домой...»

Олень копает яму. Яма по чуть-чуть наполняется водой, в воде отражается небо. Внутри шепчет голос. Олень копает всё глубже, видит, что на дне отверстие в виде замочной скважины. Вход в нижний мир, маленькая чёрная дверка.

Олень ложится на живот, лбом закрывает замочную скважину. В скважину вода не течёт. Он рассматривает то, что внизу. Вспоминает, как смотрел через такое же отверстие на обои в цветок, на занятых взрослых. Он вообще всегда любил подсматривать, неясно, почему так? Столько жил, столько натворил, а на самом деле — будто бы просидел всю жизнь в шкафу, не высываясь.

«Почему ты в шкафу, оленёнок? Пора укладываться спать. Не хочешь? Я расскажу тебе шаманскую сказку. Ты только внимательно слушай. Почему ты не отвечаешь?»

Олень ещё глубже опускается вниз, смотрит внимательно. Нижний мир кажется югом, вот сухая земля, вот ветер раскидывает песок, вот разрушенные дома, а возле — заброшенный сад. Из чёрной тучи лезет чёрное солнце, и идущий по дороге чёрный человек чешет ухо. На чёрном человеке чёрное пальто, под пальто — военная форма, лицо квадратное, одно плечо ниже другого.

— Дурак ты, ёма. — Леший поднимает голову. — Ведь здесь всё тебе было можно, а ты что выбрал?

И Олень дышит, и от его дыхания в нижнем мире поднимается пыльный ветер. Деревья шатаются из стороны в сторону, в саду перезревшие яблоки падают на землю. Олень смотрит ещё какое-то время вниз, потом переворачивается на спину. «Спи спокойно, Очы-Бала, — думает Олень, — теперь зло не выйдет наружу».

Екатерина Маевская

Два рассказа

Человек за роялем

Катя и Олег были женаты пять лет. Они поженились сразу после того, как она окончила консерваторию по классу фортепиано, а он уже год как возглавлял кафедру сочинения. Это оказалась любовь от случайной встречи в коридоре под вечную какофонию музыкального вуза. Она влюбилась в его музыку раньше, чем полюбила его самого. Искренне считала крайне редким в их дни такую преданность классическим традициям композиторства. Его мелодика была так ей понятна, близка, заполняла её с первого звука. Казалось, что она, музыка, лучше своего автора. Олег в свои внушительные годы, как ребёнок, капризный и не приспособленный к жизни, умевший бесподобно обращаться лишь с клавишами и нотами, не любил отпускать от себя Катерину. Приливы паники случались с ним, когда её не было рядом. Он искренне полагал, что хорошие слова сослужат дурную службу в отношениях с такой разницей лет, поэтому, даже если ему искренне хотелось сказать что-то доброе, он останавливал себя и внушал ей, что она не так уж хороша собой, а, скорее, «на любителя», что не каждый сможет с ней ужиться — только и только он, и вообще она мало что понимает в музыке. «Да зачем мне уживаться с кем-то, кроме тебя?..» — всякий раз задавалась она одним и тем же риторическим вопросом в ответ на его заезженную пластинку. Со временем поняла, что именно эту фразу он хотел слышать снова и снова. За годы они сделались неразлучны, дурные сплетни утихли, жизнь стала обыденной и такой, как она всегда мечтала.

— Ты уйдёшь от меня, — говорил он ей. — Если у нас не будет детей, ты непременно уйдёшь.

Олег твердил это с такой тяжестью, будто нарочно доводил себя.

— У нас будут дети, — спокойно отвечала она. — И вообще, почему вдруг тебя так это заботит?

— Потому что ты уйдёшь.

— Пожалуй, действительно уйду. Чтобы не заводить детей от такого зануды...

Она смеялась и обнимала его, целовала седую макушку, гладила колючую бороду и повторяла в сотый раз на его «а если всё-таки не будет?»: «Значит, будем жить дальше, засыпать и просыпаться в одной постели».

Екатерина Маевская родилась в Москве в 1987 году. С отличием окончила Российский государственный университет нефти и газа им. М.И.Губкина и Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ). Печаталась в альманахе «Этажерка», «Литературной газете», «Независимой газете» и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Саша, это — моя жена. Катя.

В тот день Олег их познакомил. Казалось, дыхание остановилось на минуту, когда перед ней возник композитор Александр Грубер, известный в мире больше как Сандро Грубер, а для всех присутствующих — просто Саша.

— Вы любите музыку? — спросил он, взяв её за руку в знак знакомства.

— ...Только вашу, Александр Евгеньевич!

Он громко засмеялся, расплывшись в добродушной улыбке, и затянул их рукопожатие несколько дольше, чем позволяли приличия.

В большой гостиной среди множества знакомых Катя была моложе всех. Олег сдержанно ловил недвусмысленные взгляды коллег и друзей в сторону молодой супруги — это придавало ему сил. Как мальчишка, он мог незаметно ущипнуть её за талию, если в разговоре она, по его мнению, излишне благоволила кому-то. А мог в одночасье, увлечённый беседой, и вовсе забыть о её существовании. Олег и Сандро, давние добрые приятели, безусловно, сделались двумя центрами одного вечера.

— Я думал, ваше поколение не смотрит старые фильмы, где мои песни, а ты знаешь всё наизусть... — самоупоённо воскликнул Сандро, размахивая руками. Он улучил момент, и они разговорились с Катей как старые знакомые.

— Просто у меня хороший вкус! — ответила она.

То ли шампанское, то ли отсутствие свежего воздуха в прокуренный комнате ударило ему в голову — да так, что он пел, как глухарь на току.

— Саша, а что Марина? Она в Москве? — Олег нашёл нужным прервать их чересчур увлечённую беседу вопросом о супруге Сандро.

— Нет, она прилетит несколько позже, — сухо ответил тот. — Признаться, мы несколько повздорили с ней... После двадцати лет брака и такое бывает... — и перевёл взгляд с Олега на Катю.

Весь вечер Сандро не сводил с неё глаз — в какой бы стороне она не находилась. Она показалась ему необыкновенной, бесконечно милой. Прощаясь, они обнялись с Олегом и непременно сговорились свидеться в ближайшие дни.

— Олег, подожди, — спохватился Сандро уже в дверях. — Хочу поцеловать твою жену. На прощанье! Ведь мы уже друзья, как с тобой... — Сандро потянулся к Кате, не дожидаясь ответа, и поцеловал в щёку.

— Ну да, Саш, как со мной... Да что уж там! Только мы с тобой лет сорок знакомы, а тут трёх часов не прошло, ты уже всю целуешься! — Олег стерпел порыв Сандро, списав это на его известную лёгкость и повышенный градус.

За недолгую поездку в такси Олег не проронил ни слова, то ли сделав вид — то ли это и в самом деле было так, — что в айфоне много интересного.

Через несколько дней ей позвонили с незнакомого номера. Это был Сандро. Говорил несколько нервно, сдержанно, спросил, может ли она сегодня приехать. Она осознавала некоторую бредовость ситуации, но ей было неловко отказать.

— ...Мне чертовски нужен твой совет! Свежий взгляд, свежий слух... Иное чувство — называй как хочешь, но ты мне нужна! — восклицал он в трубку, будто декламируя с эстрады. — Бросай всё, если можешь, это очень важно!..

Ей ничего не оставалось, как сесть в машину и приехать к нему. Он открыл дверь со словами: «Как я рад тебе!..»

— Чай предложу после, если не возражаешь. Сейчас — пойдём.

Он проводил её в гостиную — ту самую комнату, где некогда было много народу и где состоялось их знакомство, а теперь — только они вдвоём.

— Тебе понравилось? — спросил он. — Позавчера, в Зале Чайковского?

— Очень.

— ...Я играл только для тебя.

Она улыбнулась и добавила:

— Врёте, конечно, но всё равно приятно.

Он усмехнулся.

— Странно. Всегда срабатывало, — добавил он.

— Могу сделать вид, — предложила она.

Он подошёл к ней совсем близко, взял за руки, прошептал:

— Теперь будет правда.

Пошёл, сел за рояль.

Внешне он чем-то походил на Рахманинова. Высокий, статный, натянутый как струна — скрипка, и немного нервно, — один сплошной заряд, готовый в любую секунду разразиться детской радостью или юношеским раздражением, но сдержанный до последней ноты. Она сидела задумавшись, глядя на него, как на огонь в камине, не отрываясь. Пальцы виртуозно перебирали клавиши, будто руки были много моложе него. Сандро играл исступлённо — он существовал в одной комнате с ней, но весь не здесь.

— ...Ну вот. Ты слышала это первой. Правда, — тихо произнёс он, убрав руки на колени, не повернув головы в её сторону.

— Это замечательно. Мне сложно подобрать слова — так, чтобы это не было пошло...

Он посмотрел на неё — ему показалось вдруг, что её глаза даже чуть покраснели.

— Это всё ещё в моей голове, — говорила она и чувствовала, что большего смущения, чем в эту минуту, она давно не испытывала и, как опомнившись, выпалила: — Но мне пора.

Она поспешила встать с кресла, в которое он её усадил в центре комнаты, — он вскочил ей навстречу, преградил путь, остановил, взяв за плечи как бы по-отечески. Ей было совсем неловко смотреть на него снизу вверх в этой сомнительной близости.

— Ты... Ты передашь Олегу партитуры? — спросил он.

— Вы же просили не говорить ему, что я к вам заеду. — Она ощутила, что руки его несколько подрагивали.

— Значит, наберусь смелости и отдам ему сам.

Она поняла, что если не уйдёт сию же минуту, то он поцелует её. Хотела сделать шаг, но Сандро так и не дал ей уйти. У неё возникло чувство, будто всё это не с ними, как в другом измерении, где, точно в невесомости, она не могла противиться.

В тот вечер она возвращалась домой, к Олегу, но чувствовала на себе прикосновения Сандро, его поцелуи, вспоминала то, что он бросил ей на прощанье: «Ты не сможешь без меня. Потому что я без тебя не могу...» Она не ответила ничего, просто ушла. А сейчас, за рулём, в её голове всё время крутилась эта фраза.

Она вошла в дом — Олег никогда не встречал её, — было тихо и пусто, разделась. Горячий чайник на кухне был единственным признаком жизни в этом жилище. Поднялась наверх, дверь в кабинет была открыта — так что Олег должен был слышать её.

— Привет. Пойдём ужинать, креветки будешь? Я купила креветки в чили, — спросила она.

— Может, ты хочешь поехать в Чили? — пробормотал он, не поднимая головы.

— Что, прости?

Сергей Прудников

Закат

Рассказ

Солнце заходит и время от времени выскакивает на открытых участках перегонов, горя во всё небо, обдавая то ли теплотой, то ли тоской.

В руках Шарифа рабочая сумка, в которой инструменты и пустая литровая банка, — в ней с утра был кипяток. Шарифу хочется достать банку из сумки и посмотреть сквозь её зелёное стекло на солнце — солнце вот уже с полкилометра ничем не скрытое, подрагивая, глядит на Шарифа, глядит ему прямо в глаза, заставляя щуриться и растягивать губы в улыбке.

Он редко видит в последнее время заходящее солнце — ясные дни осенью в Москве редкость. А ещё, наверное, он не очень-то стремится к лицемерию заката (или восхода). И не потому, что времени нет. А потому, что московское солнце кажется ему чужим, — как вот это серое небо за окном электрички и деревья эти — серо-зелёные и пожелтелые.

Можно бы и привыкнуть уже — седьмой год в Москве. Многие из его земляков давно свыклись с Москвой, не ощущают себя гостями и даже не видят себя больше в родном Таджикистане — нашли себя на новом месте. Но он, Шариф, — нет.

Хотя и обратно не тянет. Точнее, выталкивает прочь — через пару-тройку дней после приезда домой. Нечего прохлаждаться. На старости лет, когда детей вырастишь и женишь, отдохнёшь. А пока отправляйся обратно и не разговаривай. И скажи «спасибо», что для тебя находится место. Известны случаи, когда мужики, приехав погостить домой, малодушничают: «передохну!», и потом Москва не принимала их — била или выталкивала.

Мимо, обдав волной, проносится двухэтажный аэроэкспресс, и Шариф усмехается — не случайно вспомнил о доме. Последние два раза в Таджикистан он летал на самолёте. Рейс до Душанбе, потом четыре часа на автобусе до Куляба и ещё час-полтора на районном «бусике» или такси до родного села. «Хорошо живёшь!» — крикали, обнимая, родные (первый день дома самый лучший, праздничный, чистый). «Хорошо», — не спорил Шариф, ему приятно было видеть гордость родных за него, Шарифа, который нашёл себя в далёком краю, зарабатывает деньги и вот, прилетает к ним на самолёте. Но молчал, что хорошего, только тот приличный заработок.

Сергей Прудников — журналист. Родился в 1982 году в Кызыле (Тува). Окончил исторический факультет Красноярского педагогического университета. Печатался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Юность». В настоящее время живёт в Донецке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 8.

Хотя и жаловаться грех, знает он. Иначе не связывали бы своё будущее с Россией и Москвой его землячки, с каждым годом таких всё больше. Раньше сложнее было. Да что сложнее — страшнее: как в пропасть бросались, как на смерть шли, отправляясь в далёкую опасную Москву. Многие терялись, пропадали без следа, гибли. Из десяти обратно живыми-здоровыми возвращались семь-восемь. Сейчас, считай, на всё готовенькое едут: работы валом, и не только чёрной. Казалось бы — чего жаловаться? Ан нет, качает головой Шариф, глядя в окно электрички, — вон даже московское солнце ему милым не стало.

Провожали Шарифа когда-то всем селом. Не без тревоги, не без слёз. Плакала мать, плакала жена. Отцы и старшие братья, из тех, кто прошёл Москву, давали советы: как держаться первое время, как выживать. Деда ограничились одним: «Работай, сын, хорошо. Тогда и Москва тебя примет, русские люди трудового человека уважают. Трудись на совесть!»

«Буду трудиться, — обещал, смахивая слёзы, старикам, себе и будущей Москве на проводинах и уже в дороге, Шариф. — Не посрамлю!»

«Как Москва?» — спрашивали его родные каждый год, ожидая, что скажет что-то новое, важное.

«Хорошо, — скалился Шариф во все зубы — пять из них вставные, несмотря на то, что нет и сорока. — Что ей сделается!» — но что-то не договаривал.

Первый год он присматривался к Москве, вникал, пытался понять.

И второй год пытался понять.

На третий понял, что ничего не поймёт. А то, в чём разобрался, — никому не объяснишь.

Шариф мог бы рассказать, что Москва с каждым годом становится всё краше и краше. Чище, удобнее, комфортнее. Он не был в других европейских городах (который год собирается съездить посмотреть Санкт-Петербург, да не складывается), но Москва — это настоящая цивилизация, реальный двадцать первый век. Строительство идёт убойными темпами, высотки растут, как бамбук в Китае. Они с ребятами квартиру как раз в такой новостройке снимают, в ближнем Подмосковье, на двадцать восьмом этаже, из окна ночью видны подрагивающие огоньки Москвы-Сити.

Машин — тьма. Если у человека приличной машины нет — нищий, считай. Вместо гаражей — многоуровневые паркинги. На улицах такси, реки из такси, обычных частных почти не встретишь, и если спешить, не тормозишь на улице, сколько руками ни махай, заказывай только через приложение в телефоне.

Магазины на любой вкус — были бы деньги, а деньги у москвичей есть: только в его новостройке три строительных магазина по разным углам дома, и два продуктовых супермаркета, и ещё штук десять мелких магазинчиков, включая секс-шоп.

Во дворах — спортплощадки с тренажёрами и футбольными полями: занимайся не хочу. Интернет везде, вай-фай. Кафе, кафе, кафе на каждом шагу — москвичи фанаты кафе, не могут без кафе. Всё, как говорится, для людей.

И за работу можно не беспокоиться, на его век хватит. Даже когда в новостях кричали про экономический кризис и проблемы на стройках России, ничего не остановилось. Все окраины Москвы и всё ближнее Подмосковье — одни сплошные краны и новые высотки.

Всё это мог бы сказать Шариф родным, которые во время встреч держат его за рукав и смотрят в глаза. Но не говорит.

В первый год он несколько месяцев работал разнорабочим на кладбище на юго-западе Москвы. Земляки держали кладбище, чужих не пускали (особенно кавказцев, которые пробовали на зуб среднеазиатов по всем фронтам, и если те поддавались — выдавливали нещадно, с кровью). На бригаде, в которой состоял Шариф, лежала

уборка мусора, листьев и снега, пилка деревьев, ликвидация старых могил и памятников.

Хоронили своих москвичи тихо, если не сказать незаметно. Тишина, и вдруг глядь сквозь ветви — стоят похоронщики. В былые времена в родном селе Шарифа, где тогда ещё жили русские семьи, похороны русские проводили торжественно и громко: с колонной провожающих, с портретом умершего в голове шествия, с оркестром, иногда с красными флагами. В особых случаях даже с залпом-салютом. Иногда с плакальщицами (одетые в чёрное, плакальщицы, как и траурный оркестр, страшно пугали маленького Шарифа, а ещё наделяли русских какой-то силой и загадочностью). Потом русские уехали, и с их отъездом прекратились торжественные похороны.

Прекратились они, судя по всему, и здесь, в Москве, — думал Шариф, глядя на печальных маленьких людей, опускающих в яму гроб, стягивающих с голов шапки, кидающих в могилы комья земли, скорбно покидающих большое кладбище.

Иногда к уходящим москвичам подходили бригадиры, земляки Шарифа, и разговаривали, предлагая услуги.

Иногда бригадиры подходили к проходящим на могилы одиноким женщинам и старухам и тоже предлагали услуги. После таких разговоров женщины и старухи не задерживались у могил, а покидали спешно кладбище, боязливо оглядываясь. А Шариф, глядя на них, вспоминал русских, бегущих из Таджикистана.

«Кладбище большое, а человек маленький», — думал Шариф. И ему было жаль, что человек на кладбище в Москве так мал, так боязлив, тих и ничтожен, что он опаслив, что он бежит. Что он не хозяин здесь. Что он гость на могиле своего отца или матери. Гость на земле, где лежат его предки.

Это, что ли, рассказывать односельчанам? Об этом лучше вообще не думать. В Москве лучше вообще меньше думать. А то голова сломаётся.

А может, и незачем Москву понимать, — размышлял Шариф. — Не надо понимать. Иначе, если поймёшь, изменишься сам. И не узнают тебя в родном селе, а то и на порог не пустят: кто ты, парень?

Если поймёшь, то там, глядишь, недалеко и до желания обосноваться в Москве. Найти себе бабу местную, как делают некоторые земляки, чтобы потом всю жизнь (вот где страшно) жить в той новостройке на двадцать восьмом этаже, ездить на электричке или метро, да хоть и на машине, и... А что: и? То-то и оно: ничего. Нет ничего дальше. Дальше только смерть. И холмик на кладбище. Хоть и покойник, а лежать в московской земле ещё страшнее, чем жить на ней, потому как срок твой — вечность.

Как-то, года четыре назад, на стройке, где трудился Шариф, зимой, в стужу, им, работягам, устроили вагончик-тепляк, чтобы во время редких простоев грелись и пили горячий чай. Чай в вагончике подавали в майонезных баночках — десятки майонезных баночек на большом жестяном подносе: сегодня обычный чёрный, завтра зелёный, послезавтра казахский, — солёный с молоком, поварихой в тепляке была казашка. Вместе с ними, таджиками, работала бригада русских. Во время простоев они — таджики и русские — набивались в тепляк, одетые все на один манер — в телогрейки, ватные штаны, и, теснясь, пили горячий чай из майонезных баночек, уступая новоприбывшим место у стойки с подносами, дую на кипяток. Грелись и хохотали: простой, хорошо. Таджики больше молчали, говорили больше русские. Но смеялись все вместе. И Шарифу приятно было стоять рядом с ними, русскими мужиками, плечом к плечу. И слушать их. И передавать чай. И смеяться.

«Дружба народов» — называла повариха-казашка свой тепляк, сама смешливая.

«Русский человек трудового человека уважает», — вспоминал Шариф сказанные ему напутственные слова стариков.

Дмитрий Воевода

Все твердят, что это ад

1-й псалом, попытка толкования

Слушая, как целебной верой
хвалится всякий арлекин,
праведный муж из чувства меры
пьёт от мигрени пенталгин.
Скрытный, улыбчивый тихоня,
ночью и днём, как пионер,
он размышляет о законе
Божием — Бора, например.

В юности, бредя о свободе,
был он горяч, а нынче — что ж,
праведный муж в совет не ходит,
лишь бы не видеть этих рож.
Глядя, как яростно качают
фрики — права, нормалы — нефть,
он телевизор выключает,
но не испытывает гнев.

Помня по опыту, что может
вмиг ураганом всё учечь,
праведный муж проблем не множит,
предпочитает те, что есть.
Весь перепачканный в зелёнке,
зная, что Карфаген падёт,
тихо свистя, стирать пелёнки
без раздражения идёт.

Дмитрий Воевода — поэт, переводчик. Родился в 1973 году в Москве. Учился на физическом факультете МГУ и в Московском архитектурном институте. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал корректором и редактором. Публикации: альманахи «Алконость», «Особняк», журнал «Иностранная литература» и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живёт в Москве.

Вроде притих сквозняк из ада,
рай для отличников претит,
праведный муж сквозь ветви сада
плодоносящего глядит.
И, не найдя отмены року
ни в бусидо, ни в ля-си-до,
всё-таки он слагает хокку
вместо сэппуку, а не до.

* * *

Все твердят, что это ад,
я и сам порой несдержан.
Распахнёшь пошире взгляд —
сразу в сердце ржавый стержень.

Не глядели бы глаза
на позорище такое,
уродиться бы назад,
в тьму утробного покоя...

Погоди, не умирай,
размассируй гвоздь под грудью.
Всё, что видишь, — это рай.
Ибо лучшего — не будет.

Апокриф

И сказал Моисей: Господи, я тяжело говорю
и косноязычен.
И Господь сказал: разве нет у тебя Аарона, брата?
Он будет твоими устами.

Вот, Моисей, спустившийся с горы
озвучить непосильные дары,
взъерошенный, как старая ворона,
расталкивая жезлом петухов,
среди женщин и косматых пастухов
отыскивает взглядом Аарона.

Но не находит брата ни в толпе,
ни у него в шатре, ни на тропе,
протопанной от стана до колодца,
и вот, молчит, не зная, как облечь
сиянье в звук, о собственную речь
боясь, как о терновник, уколотся.

И, обступив его полуколыцлом,
молчит толпа, а он с тупым лицом
разглядывает землю у порога.
Вдруг в тишине заблеяла коза,
и от бессилья вспыхнула слеза
в глазах косноязычного пророка.

За что ему, кто смертен и носат,
ни шагу не даёт ступить назад
стена испепеляющего света?!
Он еле умещал язык во рту,
как каменную плоскую плиту
с шершавыми насечками завета.

Да где понять их скудному уму,
погрязшему в баранах, что ему
такое око тяжко смотрит в спину,
что он такое слово бережёт,
которое навечно обожжёт
сырую человеческую глину!

В толпе младенец всхлипнул и умолк,
а он не знал, кощунство или долг
доверить откровение — мычанью.
И ужас расплзался по спине,
что если меч тупеет на стене,
то слово выдыхается в молчанье.

И вот уже один махнул рукой
и усмехнулся в бороду другой.
И в бешенство, как в олово, закован,
пророк взревел: «Господь сказал — народ...
А вы!..» И выдохнул почти неслышно: «Вот,
Господь, ваш Бог, сегодня дал закон вам...»

Оставивший стада нести урон,
к нему бежал по склону Аарон,
но, задохнувшись, рухнул на колени
и, глядя на родные очаги
сквозь слёзы, пот и чёрные круги,
молил за брата в светлом исступленьи.

Анатолий Цирульников

Алдан. Несцепленные шестерёнки, или Золото заката

Документальная повесть¹

В начале прошлого века Алдан был не меньше знаменит, чем Клондайк. Бушевала русская «золотая лихорадка». Сотни людей, вольных старателей, спешили в эти непроходимые края в поисках счастья. Пробирались, столбили участки у ручьев и упорно просеивали песок. В нем, казалось, содержится все — богатство, власть, исполнение желаний...

Сто лет спустя экспедиция в составе автора этих строк и трех якутских друзей переправилась через Лену (в этом месте шириной в одиннадцать километров, а есть места, где сорок) и отправилась на юг, в золотоносный Алдан. Зачем?

Не в поисках самородков.

Хотя то, чем занимаемся, напоминает работу старателей.

Что мы намыли

Я кочую по России сорок лет, а в последние годы экспедиция стала инструментом того, что называют «социокультурная модернизация». Слово «модернизация» мне категорически не нравится по причине заболтанности. Да и вектор страны направлен в другую сторону. Но, как ни называть, речь о другом взгляде на образование и его возможности.

Одна из них — перестать школе заглядывать в рот ведомству, гоняться за рейтингами и баллами, а обратиться к жизни, стать инструментом решения жизненных проблем сообществ, развития территорий. В Якутии это хорошо понимают, поэтому каждая образовательная экспедиция (так мы ее называем) — толчок к жизненным переменам.

Цирульников Анатолий Маркович — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС и страстный путешественник. Вот уже много лет его очерки в «ДН» позволяют нашим читателям странствовать по самым отдаленным уголкам России. Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 11.

¹ Автор приносит глубокую благодарность Николаю Иннокентьевичу Бугаеву (Якутск) и Андрею Сергеевичу Русакову (Санкт-Петербург) за ценные замечания и помощь при доработке рукописи книги.

Как это произошло, например, после того как двадцать лет назад мы с моим новым тогда якутским другом Николаем Бугаевым и районным начальником по инновациям Геннадием Решетниковым заехали в Таттинском улусе в таежное село Баяга. Интересное село... В нем, благодаря сотрудничеству обычной школы и созданных здесь школ народных мастеров, постепенно появились маленькая гостиница, служба такси и грузовых перевозок, центр прикладных ремесел. Начала вырастать нормальная социальная инфраструктура деревни.

Стали практикой и еще несколько проектов.

«Дуальное обучение в условиях добывающей промышленности».

Эта немецкая модель соединения теории и практики на русской почве имеет особенности. Россия — сырьевая страна и живет, как известно, добычей полезных ископаемых вахтовым методом. Но вахта — не только метод, это и мировоззрение временщиков: после нас хоть потоп. До недавнего времени в Якутии и других районах Севера к добыче алмазов, золота, газа, нефти местное население не допускалось. Объясняли это «особенностями менталитета»: дескать, какая работа, если весной на охоту тянет.

Но ситуация меняется: согласно «Программе социально-экономического развития...» в республике предусмотрено открыть 150 тысяч рабочих мест для местного населения. Казалось бы, занятость может быть обеспечена. Однако проблема в том, что коренное население со своими традициями, ценностями, укладом жизни попадает на ту же вахту, и эта «машина» превращает местных в тех же временщиков.

Чтобы этого не случилось, в модель нужно внести поправку: *гуманитарную составляющую, экологическую культуру, право* (не на бумаге)... То есть, изначально формировать проект как социокультурный, что мы и пытаемся делать.

Еще один яркий пример разворота к жизни — *«железнодорожная школа».*

В Мегино-Кангаласский улус приходит Амуро-Якутская магистраль АЯМ — ответвление БАМа. И вместе с ней — не только надежда на новые рабочие места и более дешевые товары, но и острые проблемы.

С появлением «железки» и мегапроектов по энергетике и переработке ископаемых население района вырастет в два-три раза. Резко возрастет миграция из других ареалов России и ближнего зарубежья, обострится криминогенная обстановка, появятся новые инфекционные заболевания. Районный центр, прежде находившийся в селе с традиционным укладом, переносится в поселок, будущий город, открытый, можно сказать, всем ветрам. Возникает опасность слома традиционного образа жизни, ценностей, национальной культуры.

Жизнь, как говорится, переворачивается кверху дном, а люди к этому не готовы.

Но в данном случае...

Незадолго до прихода железной дороги мы вместе с учителями, жителями района, муниципальными органами власти провели анализ ситуации: той, что есть, и той, которая может возникнуть. Появилось несколько действующих проектов: «Создание политехнического полигона сети школ, расположенных вдоль железной дороги», «Дорога дружбы» (создание воспитательной среды в условиях разных культур и национальностей), «Программа поддержки молодых педагогов в условиях поселка с быстро меняющейся экономикой».

Иными словами, школа, образовательное сообщество, стали опережать хаотические социально-экономические перемены! Влиять на них в культурном отношении...

А на севере, в Оленекском эвенкийском национальном районе — Белое безмолвие, как у Джека Лондона. Четыре населенных пункта, расстояние между ними от 300 до 600 км. И умирает родной язык...

Что делать?

В первом поселке начали даже не со школы — с детского сада. Воспитательницы ездили по стойбищам, записывали старожилов, собирали и модернизировали старинные игры и игрушки, с их помощью начали воскрешать родную речь. *Детский сад постепенно превратился в центр возрождения языка и культуры.*

В другом поселке этого района родился *проект кочевой школы*. Соединили стационарную школу с кочевой: половину учебного года дети живут в селе, другую половину — в тундре, перемещаются вместе с родителями, оленьим стадом и учителем.

В третьем населенном пункте на базе Ленской золотодобывающей экспедиции организовали *дуальное обучение*.

В четвертом создали *фермерскую школу*, и это помогло возродить традиционное якутское коневодство.

Изолированные арктические поселки сложились в сеть. Территория ожила и получила статус национального района. Образование помогло решить сложные проблемы северной Якутии. Что, если (думали мы, отправляясь в Алдан) оно поможет и южной?

Случилось наше путешествие десять лет назад — в 2013 году. Но вообще всей этой истории — больше века...

Часть первая

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ПОГОВОРКА

Из истории золотоискательства

«Золотая лихорадка» вспыхнула не вдруг, она подготавливалась медленными волнами событий и слухов. Первые упоминания о якутском золоте встречаются в начале девятнадцатого века, когда иркутский купец П.Д. Трапезников увидел на ярмарке в руках тунгуса золотой самородок. Тунгус не знал, для чего нужен «желтый камень», зато купец знал ему цену.

В 1843 году наследники Трапезникова обнаружили первое золото в верхних притоках Олекмы. Богатые иркутские купцы направили десятки поисковых партий, но вспыхнувшая было «лихорадка» вскоре затихла — речные россыпи оказались бедными. Генерал-адъютант департамента Генерального штаба Долгоруков в донесении высшему начальству обратил внимание на Алдан. Ничего не последовало. Прошло еще полвека, прежде чем золотопромышленное общество начало отправлять новые экспедиции.

Первая оказалась неудачной — крупных месторождений не обнаружили. Вторая, под руководством горного инженера, двигаясь вдоль Яблонового хребта, добралась в 1909 г. до верховий Селигдара, впадающего в Алдан. Уключя Сухая падь, позже переименованного в Незаметный, один из участников оставил свидетельство: «...Даже я на лопате намыл два золотника, и за это инженер Иванов чуть не застрелил меня наганом. Результаты поиска золота на Алдане он скрыл от ВАЗК¹ и сообщил золотопромышленнику Опарину вероятно за взятку»².

Те, до кого доходили слухи о находках, отправлялись в тайгу небольшими группами или в одиночку. Если что-то обнаруживали, участок столбили. За первыми вольными старателями, среди которых часто оказывались китайцы, шли вторые, третьи.

¹ Верхне-Амурская золотопромышленная компания. — Прим. автора.

² Конкин П. Алдан начинался так / Полярная звезда. — Якутск, 1965, № 2.

Валерия Пустовая

Приключения тесного круга

Обзор художественных книг о семье — задача необъятная. Долго пришлось бы искать книгу, где эта тема так или иначе не оставила след. Попробуем сосредоточиться на книгах, поставивших семью под вопрос. Речь не об отмене семьи как сюжета и уж тем более как явления. Перед нами художественный образ семьи, смещенной с привычной роли.

Семья остается одним из атрибутов успешной, сложившейся жизни, но сама — не благополучна. Воспринимается как залог устойчивости общества — но стремительно меняется. Считается воплощением любви — но отбивает охоту к контакту. Подается школой родства — а приучает к одиночеству.

На стыке между представлениями и правдой жизни написана актуальная проза о функции, месте, устройстве и философии современной семьи.

**Александр СНЕГИРЁВ. Плохая жена хорошего мужа. —
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021**

Название книгу компрометирует. Не модно, как и фразы из махровой сокровищницы шовиниста: «женщины так умеют» и «так смотрят женщины, когда холодильник пуст или когда забеременели». Провокативен и образный ряд, который Снегирёв меняет трюкачески, будто переобувается в прыжке. Лампы в книжном магазине ему напоминают нацистские лаборатории, а в сцене крещения рука со свечой тянется подпалить «кругленький зад» крестной. Рука, скажем в оправдание, тянется не его, Снегирёва, а героя, и только в воображении: день жаркий, и герой с упоением представляет, как возмущенные гости повалят его прямо в храме на холодные каменные плиты. В книге много намеренных странностей, эстетических закидонов, которые хочется объединить приговором: «снегирёвщина». Умение автора пробивать границы, сложившееся в слишком узнаваемую фишку. В этой прозе мало знать, что барная стойка сделана из соли, — нужно сползти со стула и лизнуть. Недаром бросается в глаза частотный и положительно окрашенный эпитет — «плотные» тюльпаны, «плотная» сметана, «плотная» печень на УЗИ, «плотный» ковролин. Проза Снегирёва — заложница плотного мира. Здесь верят в то, что можно попробовать, ощутить. И вершинным символом любви запоминается боди — нелепое плотное слово, обещанное в любовном сообщении и заставляющее адресата волноваться: мне ли первому покажет.

Но вот в карикатурном рассказе об одной тюнингованной на папашины деньги курице, которая пытается в обход очереди «выкружить денюжку» у привезенной на поклон святыни, за что получает поделом, читаем кульминационное: «Что ей дала вера? Позор и унижение. Массажисты, маникюрши, официанты обходились с ней уважительно, а здесь она встретила одно только унижение» («Он воспримет нормально»). И внезапно пронзает откровением. И нас, и весь наш плотный мир вдруг выворачивает

уязвимой и нежной стороной к Богу. Всё так: «массажистам, маникюршам, официантам» не важно, какие мы, — но Бог бесконечно испытывает, пробует нас на соль, как герой Снегирёва — барную стойку.

Мне трудно было запомнить, в каких обстоятельствах появляется в книге провокационная фраза, вырванная в заглавие. До такой степени это посторонняя истории сцена. Автогерой Снегирёва пишет рекламный текст о профессиональных жертвах пандемии: курьерах и таксистах. Их пестрые истории перебираются под плавное течение онлайн-болтовни жены героя и ее подруги из Австралии. Попутно мы выясняем историю эмиграции подруги и особенности ее брака с немолодым мужчиной. И вот где-то в складках пышной этой драпировки, которую никак не размотать до тела истории, копошится семейный анекдот ковидной поры. Немолодой австралийский муж на редкой совместной прогулке пытается обнять молодую жену, а та вырывается, заявляя о пользе дистанции для его здоровья: «Люди скажут, какая плохая жена у такого хорошего мужа — недоглядела! <...> Мы гуляли, и я сказала, что метра мало, мы будем идти ещё дальше друг от друга, чтобы даже не дышать одним воздухом!»

Не многослойность, нет — дыра сквозь слои. Новые рассказы Снегирёва хороши эффектом пробивания, уязвления плотности — бегством от последовательного сюжета, красивой связности, услужливого финала, приподнимающего, как паж, шлейф истории.

«Принято думать, что в закольцованных сюжетах проявляется божий замысел. Типа, вон оно как всё связано», — рассуждает автогерой, объясняя, что в жизни получилось наоборот: не связалось («Смерти нет»).

Рассказы в книге завораживают видимой несвязностью. В них много слоев, но это не цельная конструкция с пропиткой, как торт, — а жизнь, расслоенная на измерения. Цельность этих историй не показная, не мраморная, как в открывающем книгу рассказе, где походя создаётся мир высеченных в камне обиходных вещей, вплоть до мраморных ершиков, и в конце герой, разорвав короткий поводок страсти, сам замирает у мраморного холодильника, будто окаменелый («Где не достанет рука»). Нет, цельность тут ритмичная, дышащая, как в рассказе о баловстве с веществами, в котором наслоены чеховски тягучий спор о паэлье, ловля трусливой собаки в грозовом лесу, смех над серьезным кино, острота не выстрелившего ножа. «Вена, грудь, запястье, нож» — рассказ легкомысленный, паэлья из ничего, но именно поэтому в нем так доходчиво, образно проговорены принципы художественного мира всей книги.

Во-первых, это взгляд сквозь плотную логику, дающий свободу от оценки: гость изумляется трещинам в стене, хозяйку дома это задевает, каждый из них словно ловит свой уровень реальности: она — тот, где надо трещины извести, он — тот, где в них самая суть.

Во-вторых, это уравнивание спасателя и жертвы, человека и неговорящей «твари», твари ищущей и твари искомой: явленные в образах хозяина и собаки под дождем, они «приседают» в луже от испуга и равно спасены столкновением в лесной мгле. «Ко мне, от меня, ко мне, от меня» — реальность в рассказе пульсирует, «дышит» трещинами, радуется простым внезапным контактом живого с живым.

«Божий замысел» — если искать его в историях Снегирёва, то не в пресловутой связности, а напротив: в том, что пробивает плетение, срывает логику, мешает, путает, торчит. «Ко мне, от меня...» — это пульсирующее движение к сути вещей, живому чувству, человечности, любви. «Ко мне, от меня...» движется, и сюжет, рассказ «дышит» сквозь «трещины» в событийном ряду, слои окликают и упускают друг друга.

Один из вершинных рассказов сборника, «Отчётливое желание», начинается образом курортного любовного уединения, подчёркнутого циркачи, напоказ, ловким звукообразом «когда небесный бог дрых». Основная линия рассказа демонстративна: она о том, что от небесного бога не прячут. Это дневной рассказ, зачинаемый утром, рождаемый на ослепительном свете. От героини невозможно отвести взгляд — во всяком случае, она прикладывает усилия, чтобы не выпадать из внимания. Она инициирует долгий марафон по достопримечательностям, накидывает то купальный халат, то гидрокостюм, бежит, позирует, ныряет. Герой, приотстающий от возлюбленной, тоже на грани эффектного хода: тербит, не вовремя застревая

пальцем, в кармане обручальное кольцо — того и гляди обещает себя героине перед очами небесного бога. Но читатель видит то, что не показывают этому условному богу: в телефоне героя следит за сообщениями другая. Жизнь другой полна, как у первой, даром что это не сияние инста-звездочки, а скромное женское счастье: «муж, дети, он», — уж какое сложилось.

Апогей дневной полноты в рассказе наступает, когда шуганут тень: изгонят из любовного расклада лишнего — некоего изысканного поклонника, конкурента героя за право дарить другой скромное женское счастье. Едва увидев этого изысканного обнаженным, другая заявила, что испытывает «отчётливое желание» уйти. Обручальное кольцо утаено, герой-любовник восстановлен в правах. Но финальное удовлетворение разрывает беззвучный крик — придушенный памятник тому, что скрыто от очей небесного бога.

Вскользь, между делом, мы узнаем, что места курортного уединения помнят инста-звезду молодой актрисой, нанятой за «навыки ныряльщицы» и активно, как теперь, демонстрировавшей навыки, пока кровь не пошла: случился выкидыш. Вскользь посвящают нас и в то, почему героя историей о той утрате подкосило: их общего ребенка недавно потеряла та, другая, у которой, впрочем, остались ведь дети от мужа. То дело — давнее, это — дело житейское. Нет поводов для крика. Герой и не кричит — крик словно принадлежит не ему, не ярко проявленному дню, а взят напрокат у тени.

Если кто и раздавлен в рассказе по-настоящему, так это теневой персонаж — тот самый изысканный поклонник, оставленный женщиной, несмотря ни на какие его социальные достоинства. Человек, раненный в момент наивысшего обнажения, уязвимый в том, что не спрячешь, когда решаешься на полноту контакта. Лишенный возможности предъявить свою боль, обречённый вечно скрывать свое самое тайное, он разрывается от немого крика: «его лицо выстояло, но пошло трещинами». И его тайный крик, его плач о том, что не показывают, как будто присваивают себе все остальные герои рассказа, «отчётливое желание» кричать затолкавшие подальше от глаз дневного небесного бога.

Несправедливо и не модно, но придется признать, что главная героиня рассказа — прекрасная ныряльщица с хорошо обставленным курортным домом, светящейся репутацией среди поклонников, широкими культурными запросами и умеренной томностью в обращении с неловким, но покладистым любовником — это антигероиня, к тому же сквозная в книге. Правильная женщина — современная, упакованная идейно и материально, «позитивная», «самостоятельная». Из рассказа в рассказ такая героиня строит дом, рождает детей, разминает тело, любит домом, детьми, телом. Поморщится, только вспомнив о партнёре. Хорошая жена плохого мужа, она «стала лучшей версией себя» и не видит причин мириться с постоянным присутствием мужчины, который снижает класс ее игры.

Противоборство мужского и женского — почетный спутник правильных героинь. В открывающем книгу рассказе «Где не достанет рука» это подано в лоб, грубовато: сексуальная снисходительность женщины выражает скепсис в отношении и творческих способностей героя, он же расшевеливает в ней огонь, чтобы доказать, чего стоит как мужчина и как писатель. Но уже здесь заметно, что речь не только об амбициях: женщина, выставляя правила и флажки, осаживая и предупреждая, борется с мужчиной как естественном. Идеал мужчины в мире правильной женщины — это мертвый кенгуру на дне водопада: есть в книге и такой образ, введённый вроде бы ни к чему, от инстинктивной склонности писателя к сильному и контрастному, но инстинкт не подводит, и образ не идёт из головы, становится ключевым («Плохая жена хорошего мужа»).

Страсть правильной женщины — самоублажение, за которое не надо платить. Не случайно рифма бытового и любовного поведения в рассказе «Все её поставщики»: героиня покупает платье и туфли, зная, что берет их на день и вечером сдаст, а потому аккуратно складывает чек, — но так же, с прикидкой сдать, она принимает мужчину. Снегирёв находит бытовой и притом очень точный образ страха такой женщины:

«рассыпаться, как сумочка». В отношениях с мужчиной ей важно быть монолитной, закаменелой, безупречно сохранной, как мраморный ёршик, — и стоит привязанности или страсти пробить брешь в защите, она отдаляется.

А если не спохватится вовремя, то так и будет жить, сожалея о мужчине как главном своем упущении. Рассказ «Она сделала это сама» показывает кульминацию правильно устроенной женской жизни: «однажды все умрут», а женщина «останется одна, восседающая на подушке из собственных волос». Это деньрожденные грёзы хорошей жены, изведенной жалким, но не вполне покорившимся мужем. Моторика отчуждения выполнена в рассказе мастерски: супруги перетягивают канат власти перед дверью в санузел, на площадке у лифта, у ёлки с подарком для сына. Рассказ похож на «Дары волхвов» наоборот: супруги симметрично разделяются с обручальными кольцами, чтобы выместить досаду друг на друга. О власти ли речь — или о любви, которую жена так и не выжала из мужа, как и привычку к здоровой пище? Пока она досадует на упущенного мужа, подросток сын показывает, что становится мужиком: тоже выходит из-под контроля.

«Обошла его, как дохлого голубя», — этой фразой в рассказе описано пренебрежение жены в адрес мужа. Но издыхающий голубь ещё вернётся в буквальном воплощении: в закрывающем книгу рассказе автогерой Снегирёва подберёт его на шоссе. Это гость из вселенной, противоположной миру правильных женщин.

Нагляднее всего два мира сталкиваются в рассказе «Тонкая тень над верхней губой». Папенькина дочь постепенно находит себя, так что ей больше не по пути с увлечением юности — наркоманом, с которым ее связывают недолгий брак и многочасовые съёмки. Поступательный рост красоты, успеха, известности — вот что ждёт героиню, вставшую на поощряемый папой путь кинотворца. Тогда как фактурный герой ее фильма превратился в развалину, о которой не заплачет даже мать. Но одно упущение в прошлом подрывает будущее: однажды герой ее фильма готов был жизнью рискнуть, чтобы вернуть ее внимание, а она не повелась. И получилось, что многочасовые съёмки не зафиксировали мгновение настоящего контакта. Спущенный и забарахленный бассейн в ее доме — символ жизни, в которой избытком завалило ток живого чувства. А «тепло» принятый «фильм о вреде наркотиков» — памятник ее карьере художника, из которой вырезан главный кадр.

Напротив, почти рождественским запоминается рассказ «Отнесу тебя подальше» о помиллованной мыши, пойманной в богатом доме кормящей матерью средних лет. Оставшись с ребенком дома одна, женщина с удовольствием вспоминает, как сама задумала и обустроила этот дом. Сама она и сможет его защитить: «изловила» и теперь «отнесет подальше» мышью, влипшую в ловушку. Мышь пищит и внимательно смотрит на женщину — мышью выражает тревогу, непонятно откуда поддувающую в рассказе об уединении женщины с младенцем. Может быть, дело именно в плотности этого уединения: женщина слишком одна, слишком самодостаточна, будто утомлена людьми, закрыта от контакта. Она не желает задерживать курьера, вызвавшегося ей помочь, она не дожидается с работы мужа, который написал, что останется в городе, она так и не выкажет взглядом нагрывшему гостю, как взволновало ее, что он заехал с ней попрощаться. Женщина плотно сосредоточена на ребенке, рутинные манипуляции с которым очень точно и к месту описаны Снегирёвым: хлопоча вот так, на безмятежном автомате, женщина в действительности может думать о чем угодно. И то, что она думает, высказано на языке жестов. Вот она выбрасывает всю банку оливок — после того, как там пошарил пальцами бесцеремонный отец. Вот она срывает с постели спящего ребенка и танцует с ним, приговаривая: «Жив, жив, жив», — сразу после того, как уходит навсегда простившийся — и за что-то, видимо, не прощенный — гость. Вот она оставляет мышеловку на заснеженной детской площадке («не бросает, а именно ставит ловушку на дно урны», подчеркивает автор) — и вскоре возвращается, чтобы забрать молча моргающую мышью и за пазухой, у груди, подтекающей молоком, донести ее обратно до дома.

В конечном счёте важно, как повести себя не с мужем — а с мышью. Особенно когда выбор делается не напоказ, в полном уединении. Героиня рассказа несёт мышью

Сборный пункт

Заочный «круглый стол»

Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса как никогда важно ощущать родство, в том числе эстетическое, выработать и сохранять точки культурной сборки.

Обычно «родословную» авторов (и их героев) пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоощущение, самоопределение писателей. Мы предложили прозаикам, поэтам, критикам — старшим и младшим современникам — ответить на три вопроса:

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

В этом номере — размышления Павла БАСИНСКОГО, Веры БОГДАНОВОЙ, Дмитрия ВОДЕННИКОВА, Геннадия КАЛАШНИКОВА, Галины КЛИМОВОЙ, Бориса КУТЕНКОВА, Елены ЛАПШИНОЙ, Дениса ОСОКИНА, Александра СНЕГИРЁВА

Павел Басинский, литературовед, критик, прозаик (г. Москва)

«Я лично одновременно подражал Льву Аннинскому»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Никогда не задавался таким вопросом. Сейчас пытаюсь сообразить. У меня много учителей — и в критике, и на писательском поприще. В критике — это Добролюбов, Писарев, Михайловский. Многому научил меня эмигрантский критик Георгий Адамович. Огромное влияние оказал Александр Блок как критик и эссеист. Из близких мне по времени самое сильное влияние оказали Лев Аннинский и Игорь Золотусский. Многому научился у Сергея Чупринина и Аллы Латыниной. А из моих сверстников на меня, не скрою, большое влияние оказал Вячеслав Курицын, с которым мы постоянно ругались в печати и близко дружили по-человечески.

На меня, как на автора биографических книг о Горьком, Толстом, Елизавете Дьяконовой и других больших и малых персонажах русской литературы и истории, огромное влияние оказали Борис Зайцев своей книгой о Тургеневе и Борис Никольский книгой о Фете. Глубокое впечатление оставила книга о Державине Владислава Ходасевича. Я невероятно благодарен английскому слависту Дональду Рейфилду за его книгу «Антон Чехов». Он подсказал мне, что в писательских биографиях не нужно писать о творчестве, а нужно писать только о человеке.

Так что круг моих учителей широкий.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Ох, это щепетильный вопрос. Ведь если ты узнаешь в ком-то из молодых писателей своего «читателя», то, по сути, считаешь, что он находится под твоим влиянием, а, может быть, и подражает тебе. Вот я лично одно время, как литературный критик, подражал Льву Аннинскому, в чем честно ему признался при личном знакомстве. Не знаю. Нет, я не вижу в молодых авторах своих «последователей». Может быть, потому, что стараюсь писать книги, которые не напишет никто. Не в том смысле, что не напишет лучше меня, многие пишут гораздо лучше меня. А в том смысле, что я каждый раз придумываю новые жанры, писать в одном — мне скучно.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Мое поколение — это люди, рожденные примерно с середины 50-х до конца 60-х, я так считаю. Наше отличие от других поколений, что мы: а) не знали войны и послевоенного времени; б) успели застать советский период в сознательном возрасте; и в) вступили в период развала СССР и последовавших после этого событий относительно зрелыми людьми. Мы не успели войти в синклит советских писателей. (Хотя я успел запрыгнуть в последний вагон и в 1991 году стал членом Союза писателей СССР, но это уже не дало никаких преференций, тут я опоздал.) Но поэтому нам и легче было, чем тем, кто успел, будучи в рядах советских писателей, получать огромные гонорары за книжки и бесплатные путевки в дома творчества от Подмосковья до Ялты и Коктебеля. Нам не нужно было себя «ломать», встраиваясь в новую действительность. Мы не испытали шока от крутых перемен. У нас не было смущения за то, что мы успели напечатать. Наконец, почти никто из нас не был членом партии. И так далее. Георгий Владимов назвал нас «непуганым поколением». Отчасти это верно, хотя во времена брежневского застоя были свои страхи. А вообще себя лично я считаю очень счастливым человеком. Я тридцать лет прожил в СССР и вот уже тридцать лет в другом государстве. Я могу сравнивать две системы и два образа жизни. И мне немного жаль тех, кто родился, скажем, в 70-80-е годы. В этом поколении я отчетливо вижу ностальгию по СССР. Им не дали пожить в той стране, огромной, сложной и безусловно очень интересной. Когда за небольшое количество рублей можно было путешествовать по ее просторам. Когда с рублем в кармане ты был принцем, а с тремя рублями — королем. Когда не было этих бесконечных заборов, вертушек и охранников. Когда можно было везде курить и выпивать. Когда деньги и социальный статус ничего не решали в человеческих отношениях. Я понимаю эти поколения. Но я обратно в СССР не хочу.

Вера Богданова, прозаик, переводчик (г. Москва)

«Мы, миллениалы, читаем и пишем все время»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

Думаю, что я — как и все современные прозаики и поэты — наследую всем писателям и поэтам, которые существовали до нас. Все мы вписаны в общемировой литературный контекст, все мы используем приемы и продолжаем дело наших предшественников. Несмотря на разницу взглядов и стилей, мы настолько проросли друг в друга, что нельзя отделить чье-то конкретное «наследство». И, думаю, с течением времени и дальнейшим развитием технологий процесс прорастания и глобализации будет лишь ускоряться.

Идеальная книга для меня — это роман «Лёгкая голова» моего учителя Ольги Славниковой. В нем я вижу «золотую середину», безупречное сочетание плотного языка, текста, из которого нельзя убрать ни слова, и динамичного захватывающего сюжета.

2. Узнаёте ли Вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Наверное, я еще слишком молода, чтобы иметь литературных наследников. Авторы поколения следующего — до 30 лет — пока только ищут свой стиль, пишут первые рассказы. Недавно я вела литературные мастерские и восхищена серьезностью подхода и эрудицией молодых авторов. Они с готовностью принимают замечания и тактично дают советы другим начинающим писателям. Это меня очень порадовало.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Начнем с того, что мы, миллениалы, читаем и пишем все время — так как мы все время сидим в смартфонах. Мы читаем больше, чем наши родители и другие возрастные группы. В среднем миллениалы чаще посещают библиотеки, чем другие поколения, — 53%. Они прочитывают в среднем по 5 книг в год, настоящие news junkies, 85% из них в курсе последних новостей.

Российские миллениалы родом из девяностых, которые в нашей стране были временем непростым, скажем мягко. Поэтому в первую очередь в наших работах звучит тема незащищенности. Социальные вопросы, тема насилия. Взаимодействие человека и общества. Часто встречается тема чужого среди своих, тема одиночества, тема смерти как физической, так и личностной. Людей, которые не слышат друг друга. Цифровой зависимости.

На первый план, по крайней мере в произведениях моих ровесников и авторов младше меня — молодых авторов до 35 лет, — все чаще выходит травма частная, та травма, которая возникает за закрытыми дверями квартир и воспитательных учреждений, таких как детский дом и школа. Да, в масштабах истории — это мелочь, но в рамках жизни одного человека масштаб детской травмы становится иным. Эта травма влияет на всю последующую жизнь, на все решения, которые принимает человек, на его ощущения и впечатления от мира вокруг. Каким он видит этот мир? Ярким и теплым, принимающим или же серым, неприветливым и холодным, подлым, опасным местом, где всегда нужно ожидать, что кто-то тебя предаст и сделает больно. Нужно быть начеку. Хочешь выжить — нужно быть начеку.

Звучит тема насилия — сексуального, физического, эмоционального, тема человека, идущего не против системы, а против общественного мнения и каких-то установок, рамок, в которые заталкивают личность. Когда я искала материал для «Павла Чжана и прочих речных тварей», я видела комментарии под статьями о делах об изнасилованиях, в которых говорилось, что «у редактора портала обострение, зачем писать про эту муть?». Часто общество транслирует нам, что не надо говорить об этом. Если боишься — то ты слабак. Если ты допустил насилие по отношению к себе — значит, ты жертва, ты гадкий и сам виноват. Обвинять жертв и заставлять их молчать удобно.

Вот это нужно менять, об этом нужно говорить — и говорят сейчас миллениалы.

Дмитрий Воденников, поэт, прозаик, эссеист (г. Москва)

«Для каждого, кто пишет стихи, важно в какой-то момент предать учителя»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Я не знаю, какие бы я стал писать стихи, если бы у меня не было моих учителей: Сергея Гандлевского и Елены Шварц. Свой маяк ты можешь найти в старшем поколении. Поэзия же совершенно поступательное движение, поэтому ты не можешь вернуться в другое время, не можешь представить себя пишущим стихи, например, сто лет назад. На самом деле должна была быть Елена Шварц, а перед ней обязательно Заболоцкий, Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Нельзя взять тринадцатый позвонок и поставить его на место второго.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Я иногда встречаю свои стихи на стенах разных городов. Полагаю, писатели этих стен — чаще молодые люди, которые годятся мне в сыновья. Наследники они или оппоненты — не знаю, тем более что для каждого, кто пишет стихи, пусть даже не свои, важно в какой-то момент предать учителя. А еще приходится слышать «я читал ваши стихи в школе» во время выступлений. Ну спасибо, что не в детском саду.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Нам много лет. Мы это понимаем, если не глупы. И, наконец, как дети, выросшие под крепким, нагретым солнцем боком «железного занавеса», мы знаем, что всё самое главное, самое гадкое и истинное, происходит внутри нас, а не снаружи. Мы осознаём, как недалеко ушли от обезьяны, которая стала иногда попадать в слова. Наверное, это сочетание смирения и дерзновения — вот что важно для того, чтобы наш культурный геном продолжился во времени. Если повезёт.

Геннадий Калашиников, поэт (г. Москва)

«Всё, что прочел, оно с тобой всегда...»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

На вопрос о наследовании хотелось бы ответить, что наследую, мол, великой русской литературе, но в нынешней ситуации говорить так невозможно. Остается только с горечью признать, как невелика сила искусства. Вся мощь русской поэзии и прозы, классика девятнадцатого и двадцатого века не смогли создать надежный иммунитет против варварства, одичания и агрессивного нежелания воспринять их главные гуманистические уроки. «И ничего не исправила, не помогла ничему смутная, чудная музыка...» — если вспомнить Георгия Иванова. По моему, разумеется, субъективному мнению, в последнее время мы стали людьми без истории, у нас вдруг не оказалось прошлого. Как известно, все мы вышли из гоголевской «Шинели» и, похоже, в какую-то шинель опять входим. Таково, к сожалению, ныне мое самоощущение.

Сужу еще и по опыту своего общения с начинающими литераторами. Казалось бы, ты решил стать писателем, заняться, как говорится, литературным трудом, так изучи предмет. Почитай классику, найди любимых поэтов, прочти и не очень любимых, чему-то научись, что-то пойми. Во всяком случае, не изобретай велосипед. Но в подавляющем большинстве сталкиваешься с незнанием лучших образцов поэзии и прозы, с вялым любопытством к творчеству современников. Словно не было и нет чудесной русской поэзии, великой русской прозы. Так обстоят дела с «наследованием». Большого оптимизма это тоже не вызывает.

Если же говорить о себе и о «литературе всех времен и народов», то все-таки я филолог, я изучал литературу. Но это совсем не главное, главное, что я довольно долгое время, практически с детства, был «профессиональным читателем». Сейчас, пожалуй, стал «профессиональным перечитывателем».

И, разумеется, я ощущаю за собой любимых писателей, поэтов, любимые и не стареющие книги. Прошу прощения за самоцитирование: «все, что прочел, оно с тобой всегда, и все своим подсвечивает светом...» Не то что я напрямую им наследую. Но я живу в их постоянном присутствии. Они задают масштаб, устанавливают планку, меру вкуса, ниже которых нельзя опускаться.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Выше я говорил о разочаровывающем опыте общения с начинающими литераторами и, по-моему, несколько сгустил краски. Не все так плохо, потому что порой сталкиваешься с по-настоящему талантливыми людьми. Все-таки, «талант — единственная новость». Он заставляет человека читать, учиться, овладевать навыками

ремесла, двигаться вперед. И тут неважно, следует ли пишущий поэтике, которая ближе тебе, или придерживается какой-то иной. В какой-то точке своего развития «оппонент» становится «наследником».

И если уж говорить о «наследниках», то я встречал поэтов значительно моложе себя, которые читали поэтов моего поколения и меня в том числе. Это тем более удивительно, что, по словам критика Елены Хомутовой, «поэт Геннадий Калашников представляет поколение, названное в критике *пропущенным...*», поколение, с опозданием вступившее в литературу в семидесятые годы и как бы «затертое» временами глухого застоя. Это действительно так, и тем удивительнее, что все-таки нас читали, наши книжки хранили. Наверно, права Елена Хомутова, утверждая, что «закваска того начала оказалась крепкой, и кто не пропал — приобрел особые свойства».

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Этот вопрос вызывает у меня некоторые затруднения с ответом. Все-таки понятие поколения в литературе, в поэзии вещь довольно условная. Можно подумать, что, допустим, поэты близких годов рождения пишут одинаково и об одном. Но это же не бригада плотников или людей какой-либо другой профессии, делающих артельно одно, похожее и понятное дело. У каждого писателя, у каждого поэта свой голос, своя манера, свое мироздание. Вспоминаю, как в одной из давних бесед с молодыми литераторами Александр Межиров сказал, что литература не артельное, а одинокое, волчье дело. Так оно и есть.

Разумеется, можно указать на какие-то внешние общие черты, объединяющие литераторов моего возраста. На то, например, что нас долго «не впускали в литературу», или на то, что ряд вполне состоявшихся литераторов посещал в свое время то или иное литературное объединение: «Магистраль» Григория Левина, «Луч» Игоря Волгина, студию Бориса Слуцкого...

Подобная общность закладывала основу для дружбы, для оглядки на то, что делает твой товарищ. Но все-таки каждый шел своей дорогой. Общим было, пожалуй, еще то, что мы работали бескорыстно. Такого обилия «медовых коврижек» — конкурсов, различных премий и прочих, по слову будетлян, «отметин» попросту не существовало. Публикация в журнале была высшей наградой. А выход книжки — чистым, беспримесным счастьем. Сейчас же, читая ту или иную подборку стихов или роман, отчетливо чувствуешь, под какую премию это сочинялось. Хотелось бы, чтобы бескорыстное, говоря пафосно, служение литературе, а не той или иной «отметине», сохранялось.

Галина Климова, поэт, прозаик (г. Москва)

«Мы узнаём друг друга в лицо, по стихам и по голосам»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Богатые наследники, расточители и транжиры, мы отзываемся на слово, на голос, на веру... Поименно и сразу вспоминаются родня от литературы, воспитатели, наставники и благодетели. Вслед за сказками мистическим чёрным аистом явился мне Гоголь, приутопив в встрече с Достоевским, Гончаровым и Буниным. Особая вежа — проза Лескова, в наши дни удостоившаяся полноты признания и прочтения. Позже — магия Замятина, сказы Ремизова, Гаршина, Бабеля и — солнцестояние Платонова. Потом настигли Булгаков, Набоков и далее везде...

Но проза звучала вторым голосом, солировала — поэзия. Взбудоражила «Демоном» Лермонтова, приручила стихами Тютчева и Баратынского, накрыла заумью Хлебникова, сменилась эрой Пастернака-Мандельштама-Заболоцкого. Жарко полюбив Цветаеву, позже перелюбила напрочь. Не прошла мимо «шестидесятников», но свернула

в сторону Слуцкого, Сельвинского, Лифшица, Тарковского и дорогого моему сердцу Александра Ревича, который поставил меня на ноги. Много значимых и знаковых, многожды любимых имён не названо — все они и есть тот драгоценный культурный гумус, питающий отечественную литературу.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Сегодня читатели стихов — чаще всего сами поэты. Очень строгие, очень взыскательные читатели. По совместительству — судьи. Они же — симпатизанты и поделщики. Мы узнаём друг друга в лицо, по стихам и по голосам. «Нас мало...»

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Рушатся и исчезают государства, ломаются судьбы, люди с перебитыми хребтами и юные стихотворцы не устанут, не разучатся писать о любви и смерти, о красоте и добре. Вечные темы. На всех языках. Это не исчезнет — как и книги, на каких бы носителях их не выпускали.

Борис Кутенков, поэт, литературный критик (г. Москва)

«Взаимовлияние часто происходит витиеватым образом»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в «литературе всех времён и народов»).*

Десять лет назад, в послесловии к моей третьей книге «Неразрешённые вещи», критик Людмила Вязмитинова записала меня в наследники метареализма. Я тогда досадливо поморщился: все «измы», как любое надевание литературоведческой шапочки, казались редуцирующей условностью. Со временем внимательно, пристрастно прочитал книгу Михаила Эпштейна «Поэзия и сверхпоэзия», в том числе соответствующие статьи 80-х, и оценил проницательность Вязмитиновой. Что сближает меня с метареализмом? Это тяга к парадоксальному сращению вещей и понятий, которая идёт вне пресловутого «содержания» и помимо его; преобладание звуковой стороны речи, которое рождает смысл, но принципиально нового, непривычного (в том числе и для самого автора) качества. Иными словами, в поэзии мне важна непредсказуемость, в том числе и того, что пишу в данный момент. Среди авторов, у которых это, как мне кажется, получается круче всего и которые с годами стали для меня своеобразным камертоном — Иван Жданов, Ольга Седакова (отнесут ли они сами себя к метареализму — вопрос другой).

Разумеется, тут не избежать влияния Манделштама, и мне кажется продуктивной «ассоциативная» линия, начатая им в русской поэзии, продолженная Тарковским и метареалистами, по-новому возродившаяся в последние годы среди поколения двадцатилетних именно в русле «метафизической» лирики. Манделштамом мы все перепаханы, и я согласен с теми, кто считает, что его влияние фактически исключает эпигонство и открывает дорогу в плодотворность. При этом как читатель, хочется верить, я более широко мыслю, нежели как стихотворец: собственный поэтический опыт неизбежно сужает горизонты и заставляет видеть в каждом стихотворении либо «предсловье» собственного ненаписанного, либо, наоборот, антипример. Критический опыт работает ровно на обратное. Я стараюсь каждый раз чётко отделять эмоциональное восприятие от иерархического и понимать, где и когда они могут сочетаться. А ещё люблю «смысловые» и «земные» (продолжающие пушкинско-ходасевичскую линию) стихи особой завистливой любовью — это что-то сродни восхищению невозможным.

На подкорке, пожалуй, у меня стихи нескольких поэтов — здесь как раз эмоциональное восприятие сочетается с пониманием их объективного масштаба. Кроме упомянутых Манделштама и Тарковского, это Борис Слуцкий, Денис Новиков, Борис Рыжий, Татьяна Бек, Сергей Гандлевский. Что касается Тарковского — близко

его ощущение «раздвинутого» времени как некоей компенсации за «малость» земного существования. Слуцкий — совершенно особый: вряд ли его протокольный стиль хоть когда-нибудь влиял на мои стихи, однако то, как в них вопреки всему присутствует поэзия, остаётся непрестанным поводом для рефлексии. Пожалуй, в последнее время наиболее часто цитирую Новикова и Бек: их сложно встроить в какую-то концепцию, как и Гандлевского, это целая вселенная стихов, которая присутствует со мной по самым разным поводам. Игровой литературоцентризм Рыжего, его погружённость в мировую культуру при наличии вполне конкретного лиригероя — то, что не устаю разгадывать. А в последнее время много думаю над тем, как его линию (условно «народного» поэта, который одновременно фокусничает с интертекстом и ни слова, кажется, не говорит без аллюзивного слоя, при этом отсылая к самым разным аспектам поэзии и личности Рыжего) продолжает Олег Дозморов.

Если отойти от поэзии — очень важен опыт советских мемуаристов, их этический кодекс. Мариэтта Чудакова, Евгений Евтушенко (именно не как поэт, как автор воспоминаний), Лидия Чуковская (её правдуробство — особенно), Лидия Гинзбург... Цензура в России усиливается, перспективы туманны, и обращаться к этим людям за уроками противостояния, разумного компромисса и неустанной совестливости не помешало бы многим публичным личностям. Мариэтта Чудакова остаётся моральным камертоном и образцом задорного литературтрегерства. В случае Лидии Гинзбург на меня сильно влияет, в числе прочего, социологически бесстрастный анализ погружённости в работу.

Уроки бескомпромиссной честности — от Владислава Крапивина, а ещё был Уильям Сомерсет Моэм, перечитывать которого не устаю. В его романе «Луна и грош» меня ещё в одиннадцать лет затронул сложный вопрос асоциальности гения и связанные с этим этические дилеммы. В «Незнакомце в Париже», прочитанном в восемь, — вопрос о соотношении бытовой скучной добропорядочности и поэтических эксцентризма и безумия; Моэм поднимает его с каким-то чеховским грустным равновесием. Что-то подобное потом нашёл в стихах Ходасевича о «маленькой доброте», ангелах и демонах. Впоследствии пришлось увидеть перед собой настоящих эксцентричных гениев — людей, чей парадоксальный дар видения людей, ситуаций, отражённый в творчестве, находится в тесной связи с поведенческой сложностью. Каждый раз, когда приходится осажать себя в иррациональном восхищении «творцом», думать, идти ли на очередной компромисс с человеком, — обращаюсь именно к Моэму.

Из современников — целый пласт критиков и литературоведов, которые «переросли» профессию в моих глазах, стали важны именно как личности. Валерий Шубинский, Ольга Балла, Евгений Абдуллаев, Андрей Тавров, Юрий Казарин... Шубинский: вера в «странность» поэзии, в нивелирование житейски-персонального начала, в то, что она выше и сложнее собственного «я»; а по-человечески — умение найти во всём равновесие и смотреть на ситуацию, как он сам говорит, «с пяти сторон». Абдуллаев: мудрость и остроумие, литературтрегерская жадность, разумно доброжелательное и разумно же критичное внимание к самым разным фронтам современной литературы. Ольга Балла — это вселенная, влияние которой мне оценить затруднительно: оно распространяется на самые разные уровни — от читательского фанатизма до «стыдно лениться, когда СТОЛЬКО делает она»; от близкой мне идеи взаимообусловленности всего и плодотворности всего, даже катастроф, — до проистекающего из неё эмпатичного всепринятия реальности. Всё это не отменяет, конечно, ситуативной критичности Ольги — и даже умения порой рьяно вступить за правду, — но поиск истоков, априорная презумпция смысла заложены в самом её мировоззрении. Тавров и Казарин, думаю, проговаривают о поэзии уникально прямолинейные и несовременные вещи, не оглядываясь на некие «магистральные» линии, — и всё это в сочетании с обширной философско-культурологической базой.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своего и своего поколения читателей, будь то «наследники» и оппоненты?

Я сам ещё достаточно молодой писатель, поэтому о наследниках говорить было бы слишком громко. Многие из тех, с кем я чувствую внутреннее родство, резко отринули бы наличие родства со мной, то есть речь об одностороннем диалоге и, возможно, общих корнях. Взаимовлияние часто происходит витиеватым образом,

не впрямую, очень часто оно не отрефлектировано, воспринято не сознательно (и тем интересно), а порой проистекает не из чтения, а из разговора или из ореола, связанного с конкретной личностью. Разбирать это жутко любопытно, но на уровне персональном. Люблю слова Ахматовой, зафиксированные в дневниках Лидии Чуковской, о Пушкине, который не стеснялся тянуть отовсюду, прекрасно зная, что на выходе получится своё, пушкинское. В моём скромном случае — да, конечно, влияние было, не только как стихотворца, но и как говорящего о поэзии. Один из таких собеседников полусутоливо повторяет, что я «убедил его свести поэзию с ума» (то бишь — отринуть скучно-смысловое начало своих стихов, пуститься на поиск стихии). Оказалось ли это продуктивным для него — вопрос.

С литературтрегерством всё более определённее: есть эпигонские по отношению к моим проекты, есть те люди, которым я дал дорогу (многие из них не помнят этого или отрицают — что ж, это тоже человеку свойственно), есть дела, вдохновившие людей на то, чтобы делать близкое (что-то лучше, что-то хуже). При этом, подчеркну, никакого инструмента верификации таких «наследований» — кроме собственных наблюдений за ситуациями и людьми — у меня нет. Были случаи яростного вдохновения по принципу «обратного отталкивания» («сделаем похоже, но не как он!»), но говорить об этом не время и не место.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

На этот вопрос сложнее ответить. Никогда не был близок разговор о поколении, всегда чувствовал себя одиночкой. И сверстники очень разные. Пожалуй, некая «межеумочность», неписанность, невозможность догнать свою репутацию — для более радикальных поэтов ты консерватор, для консервативных — радикалист; те, кто исповедует то же самое, найдут во мне собрата. Про Татьяну Бек вспоминают, что «своих» на вступительном собеседовании она узнавала по чувству одиночества и растравы. Вот что-то похожее вижу в своих братьях — какая-то трудность литературного пути, отсутствие некоего «предписанного» успеха, легитимации, и в этом смысле ощущение отдельности от «поколения», просто невозможность говорить в каких-то обобщающих категориях. Но подробнее рассуждать на эту тему не стоит, чтобы не удариться в ещё больший пафос.

Елена Лапшина, поэт (г. Москва)

«Я хотя бы побуду передаточным звеном»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Моё детское интуитивное ощущение целостности подкрепилось нескончаемым чтением. Поэтому, условно говоря, и наследую я надышанный воздух литературы в целом — всё, до чего удалось дотянуться: любимое и нелюбимое (как узнать, что оно нелюбимое, пока не прочтешь?). Здесь трудно разделить «дыхания», как неразделимы и неслиянны слои текста — от бытового к бытийному, онтологическому, — просвечивающие один сквозь другой. Я люблю плотность и красоту текста Булгакова и Гоголя. Я вообще люблю плотность и красоту: мне сладок густой воздух «Илиады» — это невозможная страсть! — но рада продышаться и на прохладном осеннем воздухе Чехова. И мой текст, как интуитивно «наследующий», возможно, стремится воспроизвести ту изначально заявленную целостность, приемля и прямое высказывание, и плотно упакованное метафорическое/мифическое/архетипическое, соединяя два типа мышления: условно реалистического (возьму маркеры: «Властелин колец» и/или «Гадкий утёнок» — абсолютная ерунда, ибо что интересного можно сказать про уток?) и мифического/плотнупакованного (и, увы, безнадежно требующего считывания, — того, чего требовать невозможно, — только надеяться на случайное попадание/узнавание, переводящее текст в регистр камерного звучания). Люблю Заболоцкого. Люблю безынтонационных: более всех — Тарковского.

И, конечно, хорошее детское, — потому что оно никакое не детское, а сверхплотно упакованное. Позволительно ли это называть наследованием? — возможно, более точным для меня словом будет даже не «любовь», а «органичность».

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Я остро чувствую поколенческий разрыв — непреемственность, ментальную отчужденность, чистый лист каждого следующего за нами поколения/автора. Хотя даже это «нами» затрудняюсь определить: плюс-минус пять-шесть лет в одну и другую сторону не включают меня ни в то, ни в другое поколение, как мне думается, из-за очень уж позднего старта. Я все больше соотношу себя с шестьдесят-семьдесят-плюс-летними, хотя и понимаю, насколько это безответная любовь, в том числе читательская. (Здесь должен быть грустный, но всё же смайлик.) Субъективное чувство невключенности в поколение затрудняет ответ на этот вопрос. Мой же читатель — увы — штучный, ибо «неактуальное» — не актуально.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Мне во всем важна целостность: не убогая односторонность, а полнота бытия, в том числе творческого. Я многих — очень многих — люблю, чувствуя в них то же стремление к восстановлению утраченного, заполнению белых пятен этого интертекстуального пазла, который требует постоянного непрерывного восстановления, потому что осыпается на глазах как штукатурка. Наверное, я все-таки самозванно причислю себя к протяженному поколению, сохраняющему преемственность, хочу, чтобы она осталась: пускай через мою голову — я понимаю, что со мной умрут и мои тексты, — но я хотя бы побуду передаточным звеном.

Денис Осокин, прозаик, поэт, сценарист (г. Казань)

«Каждый автор хочет говорить на своем собственном языке»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Никогда об этом не думал — и такой способ мысли вообще не мой. Я наследую и всем, и никому. Пусть звучит дурацко, но это правдивее всего. То есть я наследую опыт всего человечества и всем, кто развивал искусство слова до меня, начиная со времен, когда люди бегали голые по лесам и танцевали у костров, впервые нащупывая и отделяя сакральные окрики от бытовых — но при этом я и сам осторожно и добавляю всемирного опыта, и развиваю литературу. Каждый автор хочет говорить на своем собственном языке. Иначе зачем он нужен? Не уверен, что вас устроит такой мой размытый ответ. Поэтому могу добавить конкретики. У меня есть довольно длинный и довольно интимный список лучших-любимых произведений, с которыми я встретился в течение жизни. Несмотря на интимность, я обязательно делюсь им в первую же встречу, когда мне случается вести лаборатории в литературных школах. Очередность позиций списка не имеет значения. Кроме десятка самых первых, пожалуй. На самом первом месте стоит румынская народная баллада «Миорица». Значит, в максимальной степени я радуюсь именно ей. Своим словом «радуюсь» я заменил ваше «наследую», с которым мне трудно.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Понимаю вопрос, но не понимаю, что мне ответить. Оппонентов — точно не вижу. Я оппонентов и оппонирование попросту не люблю видеть и тем более искать. Я люблю всё скруглять, я люблю все противоречия отменять, я люблю всё оживлять. Оживление — главная задача художника. Всё, что без Оживления или не ради него — мимо искусства, да и в быту маркируется словом «незачем». Я вижу среди молодых

писателей близких, единомышленников, родственников, редко очень, но вижу. Назову только одно имя — Екатерина Златорунская — у нее недавно вышла книга «Но случается чудо» с моими словами на обложке. У меня есть еще несколько имен, два-три-пять, но они пока что без книг. Удивительно, но это в основном девчонки.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Из сверстников я нежно люблю Дмитрия Данилова и ничего не могу с этим поделаться, да и не буду!) Хоть и не читаю его новых книг — не успеваю просто. Я мало читаю, это очень трудоемкий для меня процесс, и становится всё труднее и труднее в энергетическом смысле. Я читаю в основном нехудожественную литературу — путеводители, карты, книжки по биологии, по языкам, по речному судоходству... — а художественную стараюсь создавать сам. А в поэзии нежно-нежно люблю Машу Рупасову. Но положи руку на сердце скажу — я люблю всех и каждого, кто любит литературу и с любовью ее создает. Мне нравится, что она разная, и я очарован ее пестротой.

Александр Снегирёв, прозаик (г. Москва)

«Мои ориентиры — это те, кто продолжают движение вопреки встречному ветру»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Мои духовные ориентиры находятся вне литературы. Это художники. В детстве читал много биографий, изучал историю искусств, увлёкся, проникся, полюбил, мой учителя — это Лотрек, Гоген, Пикассо. Немного Кандинский, немного Шагал, немного Сезанн, немного Рублёв, немного Саврасов, немного Врубель. Образ Микеланджело на меня влияет. Мужчины и женщины, перемазанные краской, мне ближе нарциссичных писателей. Кстати, многие художники оставили классные тексты. Микеланджело писал стихи, Ван Гог — увлекательные, полные размышлений письма, Малевич — поучительные трактаты, Константин Коровин — прекрасные мемуары. С миром изобразительного искусства у меня очень сильный контакт, я и сам до сих пор увлечённо занимаюсь графикой. Писать прозу я начал случайно, делая пометки в блокнотах для набросков. То есть я просто записывал впечатления, а потом оказалось, что это проза. Когда не могу нарисовать, пишу слова. А ещё протопоп Аввакум мне симпатичен. И как личность, и как автор. Маньяк, конечно, но целеустремлённость восхищает. Мои ориентиры — это те, кто продолжают движение вопреки встречному ветру.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мне интересна проза Оксаны Васякиной. Просто читать интересно. Я получаю удовольствие, я влюбляюсь в незнакомый мир. Вообще, тексты, написанные девушками, для меня сейчас интереснее. Это Алиса Ганиева, Елена Безсудова, Анна Козлова. Они пишут разную содержательную прозу. Когда читаешь такое, хочется с человеком пообщаться, поговорить. Хочется у них чему-то учиться. Впрочем, с писателями обычно лучше не общаться, книжки, как правило, лучше.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Возможно, мы первое постсоветское поколение, отчасти или даже полностью освобождающееся от груза советских литературных химер. Вся эта тяжеловесная тупая добросовестность, поучительность, морализаторство, заигрывание с так называемой народностью, искажение заветов русской литературы XIX века, всё это уходит, к счастью, и остаётся чистая литература. Ощущение, будто тебя бросили в воду в свинцовых башмаках, а ты их скинул, вынырнул на поверхность и хватаешь воздух ртом.

Александр Чанцев

БОЖЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Альтернативные подходы к религиозному и новое богословие

Книги этих авторов — подчас едва ли не антагонистов, если брать Симону Вейль и Юлиуса Эволу, — объединены их интенцией иного подхода к религии, альтернативного взгляда на теологию.

Можно сказать, что в пределе их интересует то восприятие и ожидание от божественного и человеческого, которое лучше всего суммировал Эрнст Юнгер в своей совсем небольшой, но такой емкой и спасительной работе «Уход в Лес»:

«Дать человеку понять, чего он лишен даже в лучшем из своих состояний, понять, какая могучая сила скрыта в нем самом — вот в чем состоит задача теологии. Теолог — это тот, кто знаком с превосходящей любую экономику наукой изобилия, кто знает загадку вечных источников, неистощимых и всегда близких. Под теологом мы подразумеваем знающего — знающей в этом смысле является, например, молодая проститутка Соня, которая обнаруживает сокровища бытия в Раскольникове и которая поднимает его до них. Читатель понимает, что этот подъем со дна совершается не только по направлению к жизни, но и к трансценденности»¹.

Книги уже наших современников, новых теологов, в свою очередь демонстрируют, что вопрос если не трансформации традиционной религиозной мысли, то, во всяком случае, пересмотра отношения к ней оказывается для многих животрепещущим.

Антигона для всех

Симона ВЕЙЛЬ. Тетради. Том 4: июль 1942 — август 1943 / Пер. с франц., сост., вступит. заметки и примечания Петра Епифанова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. 640 с.

Вот и закончился совершавшийся на наших глазах переводческо-издательский подвиг: вышел четвертый и заключительный том «Тетрадей» Симоны Вейль (1909—1943). Религиозный мыслитель, философ, мистик, человек неожиданной судьбы — она была во многом неудобной, сложной личностью не менее трагической эпохи. Писала, конечно, тоже отнюдь не конвенционально. Писать же о ней очень сложно², но даже нужно: мысль ее, не самая популярная, часто оказывается необходимой сейчас.

Эти тетради приходятся на последний период ее жизни. Во Франции, во время довольно неудачной поездки в Америку и в Англии, накануне кончины.

Впрочем, дело даже не в близости к смерти — которую Симона Вейль давно уже ждала и даже чаяла (когда садилась на атлантический корабль, шутила, «это станет для меня хорошей крестильной купелью»); почти мазохистские фантазии и просьбы к вышестоящим отправить ее сражаться в диверсионных отрядах Сопротивления, она попадет в плен, но под пытками фашистов ничего не скажет, слабая конституция спасет ее, и так далее), — ее мышление всегда было максималистским, радикальным, на грани. Если как-то пытаться очень огрубить и сформулировать его — Симона Вейль верила в тотальное самоуничтожение, растворение в мире в служении ему и Богу. Можно быть, только если не быть. Не рай и блаженство, но растворение, небытие, тщета, немота. «...Если бы только отныне и до смертного часа моей душе было возможно не издавать иного слова, кроме этого непрерывного крика в вечном молчании».

Отношения с Богом и миром (такая последовательность) выстраиваются, конечно, очень далеко от общепринятых. Собственно, она даже возможность самого своего знания об этом подвергает сомнению. «Бог создал меня как такое небытие, которое кажется существующим, — чтобы я, отказавшись, по любви, от того, что считаю своим бытием, вышла из небытия. И тогда “я” уже не будет. “Я” есть небытие. Но мне не дано право этого знать. Если бы я это знала, в чем тогда состоял бы отказ. Я не узнаю этого никогда». Это даже не самоумаление — тут подошел бы какой-то другой термин. «Нужно сердце до конца раздавленное». Это все — в пределе, предел пределов: «Нужно одновременно знать, что нас нет, и желать не быть».

Тот Бог, которого она видит и чувствует, это тоже иной Бог. «Но у создания есть слова, чтобы сказать Богу: “Я тебя ненавижу”. В каком-то отношении создание могущественнее Бога. Оно может ненавидеть Бога, а Бог не может ненавидеть его взаимно. Эта немощность делает Его Личность безличной. Он любит не так, как люблю я, но так, как изумруд зелен. Он есть “Я тебя люблю”. И я тоже, будь я в состоянии совершенства, любила бы так, как изумруд зелен. Я была бы личностью безличной».

И даже какие-то более или менее знакомые по христианству концепты у Вейль приобретают совсем другой ракурс — и градус чувства: «Что Он нам должен, это держать нас в рабстве. От нас требуется согласие именно быть рабами». Должен и требуется — накал тут сильнее, чем кто-либо вообще ожидал за все время существования христианства. «Остальное нас не касается вовсе».

Было бы даже не грубо, но наивно сказать, что у Симоны Вейль были очень личные отношения с Богом. Нет, ее представления, ее вера трансформировали саму матрицу этих взаимоотношений — и как выламывались они из общепринятых, так и суждение о них требует значительного переосмысления паттернов восприятия (те самые «двери восприятия» Хаксли-Моррисона — тут их распахивают во всю ширь, ими могут даже сломать забытые в удержании двери пальцы, и боль не будет замечена).

У нее не Бог прощает наши грехи — это как бы понятно, это первый уровень. «Но самое тяжелое из оставлений долгов — это простить Богу наши грехи»: «Бог — наш единственный должник; ибо без Его позволения ничто сотворенное не может ни причинить нам зло, ни лишить нас добра. “Оставить Ему Его долг” — значит признать, что Он постоянно дает нам все благо, которое мы согласны получать. Великое преступление Бога перед нами в том, что Он нас сотворил... Когда мы прощаем Богу наше существование, наше существование прощается Богом»³.

Можно даже и не приводить тот фактоид, что Вейль на смертном одре отказался крестить священник так же, как до этого ее совсем не всегда воспринимали служители церкви. Еще раньше то, что она писала — и говорила, ведь она никогда не молчала! — отнесли бы даже не к апокрифическому, но к апофатическому, даже к ереси⁴.

«Мое существование есть умаление славы Бога. Бог дарует его, чтобы я желала его лишиться» / «Бог был бы ниже нас, если бы в лице Христа не смирил себя» / «Я все больше опасаюсь, не Церковь ли — Лжепророк Апокалипсиса, по мысли его автора».

И тут очень кстати будут две вещи. Во-первых, держать в голове, что все это писалось в «Тетрадах» — то есть таких полудневниковых тетрадах, журналах (в английской дневниково-публицистической семантике), альбомах (уже русской, старопомещичьей). То есть, повторю, даже мысль о страхе выражать свои мысли была ей абсолютно несвойственна (на каком-то политическом собрании коммунисты, кажется, ее зашикали, кричали «гадюка»). Но в данном случае это формат еще разговора с собой, убеждения себя, прораствания мысли и чувства веры в ее для себя оправданность, правильность и осязаемость. Во-вторых, что-то лучше можно понять, прочтя приведенную в конце этой книги хронологию ее жизни (саму биографию мы не приводим, она все же известна сейчас, и даже существует на русском языке ее жизнеописание⁵).

Уже в детстве Симона отказывается есть сладкое, пока не закончится война, родители ничего не могут с ней поделать. Вспомним тут заодно и еще один аттачмент к книге: весьма обширное и многое поясняющее интервью Ольги Балла с инициатором и переводчиком «Тетрадей» и не только — Петром Епифановым. В этой беседе он дискутирует с мифами о Симоне Вейль — в частности, что она умерла, сознательно уморив себя голодом, низведя свой рацион до нормы заключенных немецких лагерей смерти. Да, действительно, откуда бы ей знать количество тех калорий, но, угодив в больницу с туберкулезом, от самой поддерживающей еды она отказывалась, ела очень мало, а жила в крайней бедности и аскезе⁶. Еще факт: в школе она часто бунтует, «сводит класс с ума», вполне в духе «Стены» Pink Floyd — We don't need no thought control / No dark sarcasm in the classroom / Teacher leave them kids alone: «Она открыто выражает свое пренебрежение в случаях, когда порядок поддерживается системой запретов и авторитетом, основанном на страхе, и это служит нередкой причиной ее конфликтов с администрацией». Тогда же, еще в очень юном возрасте, когда ее семья приглашает в гости Троцкого, она очень умело и страстно его «троллит» — «Слышите, как ваш ребенок расправляется с Троцким?»

И тут вырисовывается еще одна ипостась Симоны — к образу святой, монашествующей в миру, юродивой даже — тотального нонконформиста, даже *enfant terrible*⁷.

Сразу скажу и про еще один образ, проступающий на этих страницах. Это точно не понравится любителям Вейль — к которым я отношу и себя, — но тем не менее. Она, как уже было сказано, рвется, закидывает письмами руководство «Свободной Франции», чтобы ее отправили этой самой диверсанткой/шпионкой. Она де продумала все: на допросе она оскорбит немцев, те ее замучают, поэтому она быстренько потеряет сознание и точно ничего не скажет. Она вообще бомбардирует всех письмами. Мчится сражаться против Франко, в результате только получает по своей слепоте и неловкости сильнейший ожог («он спас мне жизнь», скажет впоследствии), а представ перед приехавшими ее спасать родителями с винтовкой, улыбаясь, говорит, что ею ни разу не пользовалась. Или вот все время порывается работать на заводах, на фабриках, отдаться тяжелому физическому *неинтеллектуальному* труду — с отбойным молотком даже (это с ее-то здоровьем, комплекцией и зрением). Она, как пишет один цитируемый мемуарист, даже не дает себе труда одеваться и выглядеть так, чтобы не привлекать к себе внимание на улицах. И — тут она выступает, простите, как довольно докучливая городская сумасшедшая. Которую уважают, ей сочувствуют, но — как же она (несколько) утомила, как бы отделаться и отправить ее куда-то, чтобы не мешала своими прожектами (в книге есть и ее политические статьи в формате аналитических записок, как сейчас бы сказали, когда в Лондоне ее привлекли к формированию представления о будущем Франции после войны).

Но! Тут надо понимать подчас весьма непростую, как уже понятно, логику Вейль. Что, конечно, толку от нее в цехах было меньше нуля, однако не только ей зачастую было легче общаться с простыми людьми⁸, но и камень на ее могилу поставил все же не кто-либо из ее многочисленных друзей-интеллектуалов, а простой рабочий, с которым она несколько месяцев пересекалась во время одной из ее подобных работ. Есть и пункты сложнее. Один из мифов вокруг Симоны Вейль — ее, святой и собственно еврейки, чуть ли не антисемитизм. Его также поясняет П.Епифанов — если коротко, она не могла признать наличие одного богоизбранного, нарекшего себя таковым народа, это в корне противоречило ее представлениям о всеобщем равенстве, милости ко всем. Что же касается того, что, когда правительство Виши запрещало евреям занимать многие должности, а Вейль, ссылаясь на то, что считает себя человеком христианской и греческой культуры, требовала себе работы по учительской специальности, — в этом случае она хотела работать на людей и на прозреваемое ею будущее свободной Франции.

Уже осознавая весь спектр личности, интересов, ее активных заходов в мироздание, сложно как-либо жанрово определить «Тетради», тем более что к концу их/жизни дискретность записей даже увеличилась. Идет множество выписок, на всех языках (опять же в подспоре — пространные комментарии в конце). На этот период приходится исследование Симоной Вейль мифологий — она видела в них ту основу, что может помочь и спасти и сейчас, — поэтому, кроме собственно цитат, идет и их экзегеза. Вольная: «Казнь через посажение на кол. Имитирует мировое дерево, проходящее от половых органов до головы вдоль позвоночника, — как русло канала, по которому, согласно индуистам, должно подниматься семя». Поэтическая (один мемуарист лишь отчасти парадоксально заметил, что больше всего Симона хотела быть поэтом): «Вода крещения содержит этот двойной символ смерти и жизни, по аналогии с морем, которое потопляет (море Всемирного потопа), и семенем. Дождь — семя неба, изливаемое на землю. Семя кастрированного Неба, став морской пеной, извело из моря Афродиту Небесную. Крещаемый потопляется, как человечество при Ное, как египтяне в Красном море...» Это все, однако, не досужие игры ума, как могло бы и показаться, но целенаправленная и систематическая созидательная работа. Эти и подобные — многочисленные в этом томе «Тетрадей» — толкования Симоны Вейль — есть попытка сформулировать мифо-язык обновленного христианства, проникающего в каналы всех культур и верований. И она противопоставляет способ изложения божественных истин средствами притчи, мифа, сказки — традиционному для церкви способу догматических определений, подкрепленных анафемами. Есть и, вполне во французской традиции, то, что считывается как чистой воды афоризмы: «Преступник обвиняет Бога в своих преступлениях. Неповинный чувствует себя виноватым в своих несчастьях». Хотя тот уровень мышления — и чувства, скорее чувства — на котором оперировала Симона Вейль, отдаляет ее от изящных *bons mots*, приближая к герметичной темноте и сложности Ницше (его она выбрала изучать студенткой) и Чорана (мало кого ценивший, особенно из современников, тот ее, хоть и не всегда одобрительно, но выделял): «Быстрым распространением христианство обязано тому, что все эти несчастные так желали конца мира! И как это понятно...» «Наше телесное мышление нуждается в разнообразии. Кто выдержал бы часовой разговор с другом, если бы этот друг без конца твердил: “Бог... Бог... Бог...” Но разнообразие есть различие, и все, что различается с благом, есть зло». Да, иногда Вейль может быть вот так схоластически жестка и утвердительно, но часто имеет место иная интонация: «Я пока еще не вполне прояснила для себя эту загадку. Эта загадка аналогична загадке красоты». Симона Вейль может звучать и эзотерично, герметично, почти как алхимик: «все должно пройти через огонь. Но те, что сами стали огнем, в огне — как дома. Но надо пройти через ад, чтобы стать огнем».

Всех цитат не привести (тех, например, в Америке Вейль не жалуется местную католическую церковь, но рефлексировал над спиричуэлс и фольклором индейцев), но, возможно, уже чувствуется из приведенных отрывков⁹, что поле ее мысли совсем не ограничено западным опытом. И расширено оно не только обожаемой Грецией (Платон), но и Востоком. Так, Симона, отчасти с подачи старшего брата Андре Вейля, известного математика, члена группы Бурбаки¹⁰, повлиявшего во многом на развитие как математики, так и структурализма (любопытно, что его книги появились на русском гораздо раньше переводов сестры), читала «Бхагавадгиту». И вернемся опять к биографическому. Финны арестовали Андре во время советско-финской войны и его пребывания в Финляндии по подозрению в шпионаже в пользу СССР за найденное у него письмо русского математика — в тюрьме, под угрозой смертного приговора, он продолжал заниматься своими исследованиями, читал индуистов, видел, как тот же Даниил Андреев во Владимирском центре, видения горних миров. Рафинированного интеллектуала, утонченного человека (его влияние на сестру было весьма значимым) лишь счастливый случай в виде прознавшего о его зловещих вехах ведущего финского математика Рольфа Неванлинны спас от расстрела. Так и Симону в 1942-м, во время выезда из США в Англию, уехали в фильтрационный лагерь по схожим подозрениям — 18 дней ей, «всегдашней Антигоне», как она затем шуточно-успокоительно описывала происшествие родителям в письмах, запрещалось, в частности, даже брать в руки бумагу и ручку, что было особенно мучительно. Помогло вызволению опять же счастливое знакомство. Это к тому, как воспринимали этих блаженных, святых почти людей.

Впрочем, Симона Вейль, близкая к синдикалистам, анархистам и «свободным коммунистам» (свободным, при использовании методологии Маркса, от какого-либо вождизма и дистанцировавших себя от большевизма), в политических воззрениях была не столь близорука, как в жизни. «Такие институты, как рабство, крепостная зависимость, пролетариат, прилеплились к корпоративной организации, как рак к внутреннему органу», — писала она в политических заметках, по стилистике напоминающих уже статьи Толстого — такая же объяснительная интенция, такое же подчас неприемлемое для многих содержание. Симона — опять непопулярные ее взгляды! — и будущее отчетливо просматривала, не ждала после победы над немцами ничего хорошего. «Если Франция, ныне поработанная германским оружием, будет освобождена хоть американскими деньгами, хоть кровью русских солдат, есть основания опасаться, что она останется в рабстве, пусть менее явном, но столь же унижительном, либо в форме экономической полузависимости, либо в форме коммунизма».

Под конец можно лишь выразить надежду, что работа над изданием сочинений Вейль, насчитывающих в оригинале в четыре раза больше томов, чем сейчас на русском, это чудесное подвижничество, продолжится. «Но главным из всех чудес такого рода является прекрасное. Всякий раз, размышляя о прекрасном, мы останавливаемся перед какой-то стеной. Все, что написано о нем, жалким и очевидным образом неудовлетворительно, ибо исследование <предмета> должно начинаться с Бога. Прекрасное состоит в провиденциальном устройении, через которое истина и справедливость, еще не признанные, безмолвно зывают к нашему вниманию. Красота есть поистине, как говорит Платон, некое воплощение Бога. Красота мира не отличается от реальности мира».

Автаркия для возносящихся

Юлиус ЭВОЛА. Очерки о магическом идеализме. / Пер. с итальянского Е. Мигуша. — СПб.: Владимир Даль, 2022. 279 с.

С изданием трудов одного из отцов традиционализма дело, даже после смерти Виктории Ванюшкиной, переведшей основные его работы, продвигается достаточно стабильно. Дошло и до его собственно философских работ, относящихся к раннему периоду творчества. На карте личностного развития итальянского барона это — прощание с увлечением живописью (достаточно любопытной и самобытной на фоне даже тогдашнего авангарда, к слову сказать) и абстракционизмом-дадаизмом и перехода к собственно традиционализму. Как пишет Эвола в книге о своем становлении «Путь киновари»¹¹, это примерно 1921—1927 годы. От этого своего периода Эвола не то чтобы открестился, просто сам для себя он времен «Восстания против современного мира» был, видимо, значимее. Для нас же важно и интересно то, как рано — книга 1925 года — он начал говорить о том, что в интеллектуальный обиход вошло гораздо, гораздо позже.

Отдельно поражает, что у эстета, сноба, элитиста и чуть ли не фашиста Эволы находится гораздо больше точек соприкосновения с Симоной Вейль, чем того можно было бы ожидать даже в самой причудливой фантазии.

Во-первых, это метод. Эвола уже более чем кто-либо еще совершенно ничем не стеснен в своем мышлении, его полагания направлены далеко, а средства, которыми он возводит здание своей мысли, не ограничены ничем (благо эрудиции его могли позавидовать очень многие). Посему — опять очень задолго до того, как это стало чуть ли не трендом в европейской мысли — он активнейше использует восточный философско-религиозный материал. Древнекитайская философия (догматика или моралистика, было бы точнее сказать) и древнеиндийская мысль (идея кастовости, вернее, восходящей вертикали социума, вообще важная для традиционалистов) широко представлены в его работах. «Это глубокая доктрина даосизма — нежелание иметь, отдавать, чтобы обладать, сдаваться, чтобы доминировать, жертвовать собой ради достижения — выражена в знаменитой концепции *wei wu wei*» — если кто-то услышал о ней впервые, то для Эволы она знаменитая, заметим. И тут же он легко может привлечь, чтобы не стояли в сторонке без дела, концепты европейской алхимии и даже магии (он их разделяет, ставя последнюю выше): «Чистая неопределённая возможность или ткань нового опыта (*anonta-juotih*) в западном оккультизме называется “астральным светом” или “великим магическим агентом”». Индуизм, даосизм, буддизм и мистериальные практики синтетически соседствуют у Эволы с Кантом, Шеллингом, Фихте и Вико. Привлекает он, кстати, и математическую логику и новейшую физику: Лейбниц, Риман, Лобачевский, Пуанкаре, Эйнштейн и Рассел будто передают привет Андре Вейлю.

И тут мы имеем латентный мостик к будущим постулатам традиционализма об упадке современного мира — к древнему знанию Эвола обращается не досуже, просто нынешнее скомпрометировано: «В частности, это проявляется в упадке трансцендентальной религии, в так называемых “Сумерках богов” и в зарождении, помимо них, модернизма и “имманентной религии”. В демонстрации науки как по существу произвольной, субъективной и оригинальной, а не воспроизводящей, объективной и необходимой конструкции, соответствующей традиционной концепции». Футуристические прогнозы не были в сфере интересов Вейль, критика настоящего и грядущего — прерогатива гораздо в большей мере Эволы. Но как Вейль не видела радужных перспектив в послевоенном мире, так и пессимистически формулирует Эвола: «Человеческий разум также обязан быть уверен в том, что то, что ему указывается в качестве его дальнейшей фазы, не является точкой, уже пройденной им.

<...> Точки, которые он рассматривает как наиболее продвинутые — в данном случае идеализм — недостаточны».

Во-вторых, хотя этому и не перестаешь удивляться, Эвола и Вейль говорят, если абсолютизировать, почти об одном и том же. О преображении своего «я», почти элиминации его в мире ради преображения, выстраивания кардинально новых отношений с мирозданием и Богом. На это цепляются более локальные концепты. Даже когда Симона Вейль пишет, что все «должно пройти через огонь», Эвола цитирует Карло Микельштедтера об отшельнике, способном «превратить себя в пламя» и верует в то, что «дух есть не что иное, как бесконечная энергия, которая подтверждается во всех тех формах, в которых он сливается и определяет свою силу, это не что иное, как гераклитово творческое и растворяющее пламя».

Раствориться же нужно полностью: «Обладание — это отрицание, будь то простого существования или положение, отменяющее себя, и именно из-за этого негативного опыта, который превосходит каждое существо в небытии бесконечной свободы». Это подразумевает и ту смерть ради других (и высшего себя, конечно), о которой так страстно писала и которую проповедовала, *проживала* Симона Вейль: «Истощение всякой гордости, жизнь, пронизанная истинным смирением и самоотречением, постоянная смерть по собственному желанию — это задачи, к которым человек по-настоящему не приспособится, если он не порожден в бесконечно более высокой силе, чем та, которая требуется для любого безумия, отрицания или разрушения». Здесь — хотя и в иной лексике и подаче — довольно христианский концепт самоотдачи ради другого: «Это происходит именно тогда, когда “другой”¹² (смотри, что противостоит моей свободе) ощущается как лишение: тогда мир предстает как нечто неполное, требующее его интеграции». Самоотречение должно быть не только творческим и созидющим самого отрекающегося от себя, с чем Вейль согласилась бы с натяжками и оговорками, но и тотальным, под чем она бы уже подписалась. Как пишет в своем предисловии Дмитрий Моисеев, целенаправленно занимающийся философией деятелей традиционализма и консервативной революции и выпустивший книгу об Эволе¹³: «Совершенная воля, воля Индивидуума, обретающего силу Господа, в своем действии “не имеет ничего от желания или внутреннего принуждения”».

К чему же призывает, ведет Эвола? К «процессу абсолютной самореализации» — «вознесения индивидуума до вселенского Господа». Человек должен превзойти имеющуюся его природу: «Я должно подтвердить себя как существо свободы и силы. Стать абсолютной творческой автаркией». И, отметим, когда Эвола пишет о «преодолении поколения животных или гетерогенного поколения и его замене посредством вышеупомянутого овладения формирующимися и регулирующими принципами человеческого организма, самозарождении, а затем духовном творении и как следствие конструировании бессмертия; установлении самосознания, то есть интеграции действительности, в тех мертвых зонах, которые являются сном и периодами до рождения и после физической смерти¹⁴», — у него чуть ли не больше всего соприкосновений с философией русского космизма¹⁵. Правда, цитирует Эвола не Н.Фёдорова, а Э.Леви о том, что следует «заниматься практикой преодоления смерти». Итальянский философ чаёт той эпохи, когда «поколение людей или животных не уступает поколению богов или духов».

Эвола, увы, не мог в те годы прочесть Фёдорова иначе, чем на русском. Он привлекает тоже довольно маргинальные имена — последняя часть книги содержит очерки схожих идей в творчестве близких ему мыслителей. В основном, погибших очень юно и трагически — это Отто Браун, Джованни Джентиле, Октав Амлен и уже упоминавшийся Карло Микельштедтер. Самый известный и состоявшийся среди них — Герман фон Кайзерлинг¹⁶, о котором Эвола пишет: «Основная заслуга Школы мудрости состоит в том, что она подтвердила, что значение имеет не получение новых знаний или опыта, а изменение уровня личности, перенос центра Я в другой план или измерение, в котором отношение к своей деятельности — это владение и безусловная решимость».

Богословие космоса

Ганс Урс фон БАЛЬТАЗАР. Данте. / Пер. с нем. О. Хмелевской. — М.: Издательство Библиейско-богословского института св. апостола Андрея, 2022. 178 с. (Серия «Современное богословие»)

В различных издательских сериях ББИ — «Современная библеистика», «Философия и богословие», «Богословие и наука» и др. — выходит множество самых разнообразных книг, имеющих отношение к осмыслению религиозного. Довольно существенно представило издательство на русском работы и Ганса Урса фон Бальтазара (1905—1988), одного из ведущих богословов прошлого века, кардинала. Собственно эта книга родилась из нескольких глав в фундаментальной работе Бальтазара «Богословская эстетика».

При том, что Франко Нембрини в «Данте, поэт желаний» говорит, что «некоторые исследователи называют “Божественную комедию” пятым Евангелием, другие — последней книгой Библии», а Бальтазар констатирует, что «можно предположить, что именно себя Данте воспринимал основателем этого нова третьего богословия, возможно, в союзе с Иоахимом Флорским», он отмечает, что «какие-либо серьезные исследования богословия Данте в узком смысле мне неизвестны»¹⁷.

Впрочем, маленькая книга Бальтазара отнюдь не нацелена «восполнить этот досадный пробел» в богословии ли, филологии ли. Это — вольная книга. Не дневник чтения, конечно, но реперные точки мыслей и чувств при осмыслении, охватывании творчества и фигуры Данте.

И в этом религиозном взгляде на Данте находится много того, с чем согласились бы Симона Вейль и иные читатели (более многочисленные, видимо, у Бальтазара). От каких-то частностей вроде приверженности к сакральному молчанию в ущерб профанной болтовне («отныне уст я больше не открою; / Свободен, прям и здрав твой дух») и аскетичности («Благодать встречи с самой прекрасной из женщин влечет за собой отречение от всех других соблазнительных красот. Это аскеза миннезанга, и она влечет нас далеко от аллегорий Пира»). И до более глобальных вещей вроде диатриб в адрес церкви («к этой же традиции относится побагровевший от возмущения Пётр, а вместе с ним и весь рай, пылающий гневом из-за позора земной Церкви. Данте не боится последних вспышек гнева в высших небесных сферах: сначала негодования князя апостолов в звездном небе, а затем — Беатриче в самом кристальном небе»)¹⁸ или мотива (само)умаления Бога («...Слава неба — это слава рая, насквозь пронизанного пламенем божественного эроса, но отличительно-христианские черты этого эроса: сошествие Бога в смерть и в ад, умаление вплоть до совершенного кенозиса. Взятие на себя Богом вины всего мира»). Самоумаление Бога, конечно же, дублировано смирением человеческим: «Вся книга пропитана фундаментальными христианскими идеями; прежде всего, в ней постоянно фигурирует понятие смирения: Беатриче получает венец *umilita*¹⁹, и сердце поэта смиряется при ее виде»²⁰.

Подписалась бы Симона Вейль, сказавшая, что «красота мира не отличается от реальности мира», скорее всего, и под генеральной линией, обнаруживаемой Бальтазаром у Данте, и сводимой к тому, что «богословская эстетика Данте фактически построена на отождествлении *amog* и *bellezza*», любви и красоты. Приходит он — и Бальтазар к своей экзегезе, кстати — конечно, разными и сложными путями. Так, еще до всякой усложненности, не сказать модернизма-постмодернизма, уже у Данте Бальтазар отмечает синкретичность его метода: «Данте и есть этот синтез: схоластики и мистики, античности и христианства, сакральной идеи царства и францисканской церкви духа, и, что еще более удивительно — мира придворных миннезингеров и бесконечно далекого от него мира схоластического знания; он в некотором роде

встраивается в ряд средневековых кафедральных соборов²¹, где в последний раз этика гармонично уживается с эстетикой, где обе взаимно поддерживают и усиливают друг друга». И это действительно великий, затем утраченный синтез — времена развели брата этику и сестру красоту, они стали чуть ли не непримиримыми врагами²².

Данте, как и Вейль, разумеется, опирается на греческое наследие: «Это творческая работа смельчака, который, решаясь на это дело, втягивает Вергилия и Беатриче в свою орбиту: античность потому имеет для него непреходящую ценность, что он любит Вергилия, Стация, Аристотеля и всех других великих ее деятелей как отцов своей души».

К чему же все это, кроме утверждения божественной любви и красоты? К возвышению к ним. «Благородная душа, следуя за своим внутренним порывом, открывает, что она должна выйти за собственные пределы, что ее, вероятно, природная *magnanimità* требует от нее подчинения путям благодати». «Человек есть мир и над-мир... До которого собственная его добродетель подняться может не иначе как при содействии Божественного света, и об этом блаженстве позволяет нам судить понятие небесного рая. Царство — это совершенное исполнение и воплощение земного порядка и человеческого закона: *imperii fundamentum je humanum est*». *Homo novus in vita novus*.

Все это имеет прямой выход на *theios kosmos*, божественный космос. Бальтазар излагает Данте следующим образом: «Когда твердая материя выскальзывает из нее (души как субстанциональной формы тела. — А. Ч.), она захватывает окружающий ее воздух и придает ему форму, из которой воссоздает для себя новые члены, подобные теням, в ожидании будущего воскресения физического тела. Но это означает, что души умерших не отдалены от мира, но введены в сообщество этого единственно реального космоса, и как космические существа участвуют в определении судеб мира²³. <...> На этих примерах, по крайней мере, ставится под вопрос утверждение, что современные естественные науки вместе с демифологизацией космоса окончательно перечеркнули и те идеи, которые были выражены “богословием космоса” у Платона, Аристотеля и схоластиков»²⁴.

Наука русских космистов не демифологизировала и даже не сакрализовала космос — она пыталась вернуть отношения человека и мира к их примордиальной гармонии. Вместо пылинок, затерянных в холодной бесконечности космоса, — прорастание ростков всей прошлой и будущей жизни, вознесения их. Об этом, иными словами и абсолютно в другом — но родном — контексте, пишет Бальтазар в отношении Данте: поскольку Данте «позволил себя облечь в некий прообраз преображенного тела, он может предложить пяти чувствам самые неслыханные наслаждения». Этому термину, а тем более эросу, не нашлось бы места у Николая Фёдорова, в трудной смертобожеской борьбе он помышлял пока только о работе (философия общего дела). И еще интересная замена у Данте — где у Фёдорова будет «воскрешение мертвых отцов», у Данте прежде идут матери: «Эрос заключает союз. У Данте он открывается для вечности Бога только потому, что одновременно и закрывается. Он есть форма и дает форму. Ничто не остается без ответа, неопределенным; все туманное проясняется и обретает различную форму. Поэтому у всех блаженных в небе остается жажда воскресшего тела, *disio dei corpi morti*, после увековечения плоти и крови, а тем самым и связи поколений; им дорог прах могильный:

Быть может, и не свой, а матерей,
Отцов и всех, любимых в мире этом
И ставших вечной чередой огней».

Ориентация — пайдейя

Джон МИЛБАНК. Теология и социальная теория: по ту сторону секулярного разума. / Пер. с англ. А.Кырлежева, Д.Узланера. — М.: Теоэстетика, 2022. 736 с.

Перед нами яркое свидетельство того, что новое богословие живо, споры в его рамках не менее страстны, чем во времена первых соборов, и все это оказывается весьма актуальным — автор исключительно походя может, например, упомянуть музыку Губайдулиной и Мессиана в своих рассуждениях. Джон Милбанк (р. 1952), выпускник Оксбриджа, профессор факультета теологии и религиозных исследований Ноттингемского университета и один из лидеров христианского интеллектуального движения, получившего наименование «радикальная ортодоксия», написал в 1990 году²⁵ не столько дискуссионную книгу на стыке теологии, социологии и даже истории науки, сколько глубоко фундированную в плане выражения своих взглядов. Их, как и воззрений «радикальных ортодоксов», не стоит бояться: посыл тут таков, что альтернативой монополии секулярного знания выступает обращение к той христианской мысли, богатство которой значительно утратилось на пути от позднего Средневековья к нашим дням.

Это во всех смыслах новая теология, которая хочет поколебать примат секулярной мысли (собственно к атеистам подход у нее весьма мягкий, она разделяет тот взгляд, что атеистическая картина мира легко предполагает вставку в нее финального кубика Lego с надписью Бог), видит теологию живой и работающей. При всем при этом Милбанк, да и другие, отнюдь не отсылают лишь к отцам церкви, но вдумчиво, благодарно и критично (зависит уж от мысли) оперируют Ницше, Делёзом, Фуко и Жераром (без последних трех данная книга была бы невысказана, говорит автор в разделе благодарностей). В книге в контексте социологического подхода к богословию детально разобрана, в принципе, изрядная доля идей Платона, Аристотеля, Блаженного Августина, Фомы Аквинского, Вико, Канта, Фихте, Гегеля, де Местра, Прудона, Рёскина, Маркса, Хайдеггера, Деррида, Делёза и Лиотара, не говоря уж о теологах прошлого и даже нынешнего веков. Хотя это отнюдь и не было задачей данной работы, в чем-то она может рассматриваться и как история мысли современного и постмодерного времени — мысли в том узком ключе, что подчас отражает все разнообразие философии и мира²⁶.

Милбанк, возможно, выступает не только за мыслящую и современную теологию, встроенную в механизмы осмысления этого мира не на самом последнем месте, сколько видит кризис современного существования — и предлагает собственные видения решения очень насущных проблем.

О кризисе же он будет писать весьма много — так, страницы с разбором капитализма и воззрений Маркса²⁷ по критическому накалу не уступят недавней настольной книге всех леваков и интеллектуалов «Капитал в XXI веке» Т.Пикетти и других леваков-неомарксистов-альтерглобалистов. Самая первая строка предисловия к русскому изданию: «Настоящий кризис, который переживает наша планета, все поставил под вопрос». Несколько дальше он пишет о том, что, «хотя христианство было отвергнуто, остается верным, что именно христианское богословие может лучше всего диагностировать кризис нашего времени»: «вполне можно предположить, что нынешний кризис Запада и западно-ориентированного мира связан с отказом от этой окончательной религии и ее откровения о Боге, как также и о человеке, как о событии любви, превышающей любой закон или набор ритуальных предписаний и запретов». Сложилась, констатирует Милбанк, парадоксальная ситуация, когда «мы пока остаемся в рамках западной траектории развития», но при этом «эта траектория привела к отказу от ее собственных ключевых метанарратива и метафизики».

Но не стоит, однако же, и на секунду думать, что Милбанк и прочие «ортодоксы» — это такие воинствующие неоконны и фундаменталисты, пойдут поддерживать Трампа и прочих правых. Наоборот, для него очевиднейшим образом следует, что «из этого нарратива и этой философии проистекает установка на то, что политические цели справедливости должны быть однозначно подчинены более широким социальным целям примирения и взаимного процветания людей». И хотя, скажем, буддизм и, шире, ориентальная картина мира по понятным богословским критериям оказываются вне его анализа, ведь он работает именно с западнцентристской моделью, он вполне в курсе происходящего в мире вне ареала «золотого миллиарда» — и склонен винить в идущих там процессах все тот же «коллективный Запад»: «В то же время весьма сомнительно, что нынешний ислам свободен как от упадочных тенденций, так и от тенденции к секуляризации, которые являются следствием его встречи с Западом».

Описание современного кризиса у Милбанка вообще разнообразно и нюансировано, не сводится к обычному пафосу прогрессивных мыслителей наших дней. Он, в частности, вспоминает мальтузианство, для которого «ни бедность, ни тяжкий труд, ни потребление сами по себе не являются достойными особой похвалы или, наоборот, осуждения». «Либеральный дискурс предполагает лишь изолированного, замкнутого на себе индивида», — резюмирует он еще там, где разбирает развитие позитивизма от Мальбранша к Дюркгейму, а «сегодня неолиберализм лишь усилил свою хватку, но при этом он начал мутировать в некую новую разновидность политической тирании». Критика не ограничена абстрактными диатрибами, а вполне конкретна, направлена по разным фронтам. «Капитализм ложен не потому, что он стал принудительным и действует гетерономно, а потому, что это система, рассчитанная на то, чтобы действовать безотносительно к принципам справедливого распределения»: целью «утонченного тоталитаризма, связанного с доминированием свободного рынка и либеральной демократии» является, разумеется, не удовлетворение потребностей и желаний, но их формирование. Вовлечен сюда не только злокозненный рынок, но и гуманистическая, казалось бы, наука: «и наука, и капитализм придают публичную значимость только одному смыслу: смыслу власти. Любые теории, продукты и интересы — происхождение вселенной, вопрос о родстве человека с животными, любовь к прекрасному, гуманитарная озабоченность, более быстрый транспорт — могут, в конце концов, давать власть, увеличивая ее размах, ресурсность и гибкость». Здесь Милбанк ссылается на Вебера, с которым, впрочем, много и дискутирует (вообще буквально каждый авторитет вызывает у него как и внимательное согласие, так и решительную критику) — «ни на чем не основанная ценность научной аргументации, которой мы все же неумолимо преданы», позволяет относиться ко всем прочим идеальным типам негативно (и высокомерно, добавил бы я). Контроль, механизмы власти (автор говорит в терминах Ницше — воля к власти — которого назначает если не ответственным за многие беды²⁸ современности, то их точным диагностом) повсеместны: эмансипация «означает лишь максимизацию негативной свободы», а свобода — Милбанк ставит ее в кавычки, запирая, как и нынешнее общество, — это «произвольная власть, которую, как мы видели, утонченная тотальность стремится утвердить не только в центре, но и везде на периферии».

(Формулировки мысли Милбанка вообще часто отличаются интересной оригинальностью. И даже не в том случае, когда он говорит, что современные естественные науки были ошибочно возведены в статус самостоятельной натурфилософии, или что вера в гуманизм подменила собой трансцендентную веру. Или даже когда может быть радикальным: «вслед за nouvelle theologie, но только более определенно, я утверждаю, что Отцы Церкви не знали никакого деления на философию и теологию в смысле двух разных дискурсов и что это не было проявлением неспособности к концептуальной ясности, которая позднее была достигнута в Средние века». А когда уже откровенно «подставляется» под критику не только оппонентов, но и даже сторонников и всех

сразу: «...Я рассматриваю католическое христианство как воплощение лучших языческих импульсов, ересь — как преувеличение или разжижение истины, а нигилизм — как пародию, во-первых, на христианское представление. Согласно которому мы были созданы из ничего, так что все конечное является недетерминированным, а во-вторых, на христианское же представление о том, что упорядоченная красота во всех этих искажениях сохраняет истину и что отклонения даже лучше развивают некоторые аспекты ортодоксии, которые ортодоксия должна впоследствии учесть». Критика, как он вполне спокойно сообщает в предисловии, и воспоследовала со всех сторон; некоторые соображения он учел, вообще дорабатывал текст при последующих изданиях.)

В чем же причина приведенных выше проблем? Вполне возможно, дело в самих нарушенных механизмах восприятия социального и богословского. «Исследуя эти истоки, мы увидели, что термины “социальное” и “общество” настолько внедрили в наше сознание, что отныне мы даже не пытаемся усомниться в справедливости представления о “религиях” как о чем-то проблематичном, а о “социальном” — как об очевидном. Тезис о том, что первое должно быть отнесено ко второму, казался невинным гениальным озарением». Религия была оттеснена на край, будто там ей и место. Она стала маргинальным предметом сухого изучения, таким эпифеноменом — тогда как не только социология не в силах полностью описать, но и богословский язык описания мира, весьма вероятно, может сказать об окружающем и нас в нем едва ли не гораздо точнее, объемнее и спасительнее. Здесь, кстати, Милбанк привлекает Бальтазара, который часто фигурирует на страницах «Теологии и социальной теории»: «Фон Бальтазар обращает внимание на то, какое направление принял бы такой ход мысли: “политическое”, считает он, больше не может представлять собой первичный продукт христианской жизни, но не потому, что эта жизнь асоциальна, а потому, что Евангелие замещает политические образы Бога более интимными: Бог как родитель и Бог как возлюбленный. Можно предположить, что это должно означать, что проектом Церкви является установление нового, универсального общества, нового Града, *civitas*, в котором эти более интимные образы являются парадигматическими: сообщество, в котором мы вступаем в отношения прежде всего с ближними, и каждый ближний — это мать, брат, сестра, супруг. Поэтому мы нуждаемся именно в новой экклезиологии, которая будет также постполитической теологией». Но опять же — Милбанк не за буквальную реставрацию прежних паттернов, он хочет возродить, привлекая живое слово святоотеческой матрицы и при этом не ограничиваясь узкими конфессиональными моментами, онтологию живого христианства: «Ясно, что формальной регулятивной логике капитализма может быть противопоставлена лишь конститутивная логика метафизической системы, указывающая в рамках социального нарратива на определенные социальные роли как на объективно желательные. Лишь в этом смысле всякая настоящая оппозиция капитализму оказывается “консервативной”²⁹. Однако это не значит, что выдвигаемая альтернативная социальная формация обязательно должна представлять собой органицистское, социально-иерархическое общество. Общество, ориентированное на пайдейю, на культивирование определенных добродетелей, вполне может представлять собой и общество, приверженное экономическому и социальному равенству, а также республиканскому участию в политических процессах».

В чем же ключевой смысл спора Джона Милбанка с либерализмом, позитивизмом, нигилизмом и диалектикой (при том, что во всех этих направлениях он находит подчас неожиданно много стоящего), кроме противопоставления им католической онтологии, возвращения в мир общепринятого мировидения теологии («теология сама по себе является общественной наукой и королевой наук для обитателей *altera civitas* — Иного Града, пребывающего в странствии в современном мире») и нового открытия «трансцендентного истока человеческого языка и неизбежности теологии

как предельного горизонта высказывания о бытии» (из предисловия О. Давыдова). А говорит он о довольно простых — и тем сложных — вещах: «Задача человеческого творческого различения состоит в том, чтобы оно было каритативным, исполненным любовью, и бесконечно давало в “искусстве” (во всех человеческих действиях) новые аллегорические изображения любви. Через эту любовь мы одновременно проецируем в воображении и познаем Бога». Не так много и изменилось со времен Данте, верно? Или его предшественника Аквината, у которого «главными являются: “милостыня” — достаточное удовлетворение всех нужд ближнего; “братское исправление”, ненасильственное и в то же время абсолютно чуждое всякому ложному “безразличию” к поведению нашего ближнего; “милосердие” как единственно возможная реакция на все действия, не соответствующие конечной цели; и “жалость”, которая есть печаль о несовершенстве другого». Так возводится тот Иной Град, строительство которого как-то заморозилось, а возобновление его даже не обсуждается: «Вместо мира, “достигнутого” посредством отвержения проигравших, подчинения потенциальных соперников и сопротивления врагам, Церковь дает подлинный мир посредством памятования о всех жертвах, равной заботы о всех своих членах и открытой готовности к примирению, с которой она обращается к врагам». Надо ли говорить, что все эти послы «предполагают волю к включению в будущую совершенную коммуникацию также и умерших (христианская интенция, акцентированная в русском космизме. — А. Ч.), в особенности жертв несправедливости в прошлом», то есть являются действительно абсолютными.

Evo(lvo)lution

Гайсберт ван ден БРИНК. «И произвела земля...» Христианская вера и эволюция / Пер. с нидерл. и англ. А. Лукьянова. — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2022. 324 с. (Серия «Богословие и наука»)

Совсем новый, 2017 года, труд нидерландского богослова (р. 1963), заведующего кафедрой богословия и науки факультета религиоведения и богословия Амстердамского свободного университета, приглашенного лектора (от США до России) вышел в серии «Богословие и наука» ББИ, где обсуждают не только диалог богословского и научного познания в целом, но и такие волнительные и очень любопытные вопросы, как биоэтика, космология и так далее.

Сам Дарвин уподоблял естественный отбор «универсальной кислоте», которая фундаментально меняет все, с чем вступает в контакт. Так, конечно, происходит и с воззрениями на дарвиновскую теорию. И если кто-то, возможно, ожидает мрачной религиозной догматики или же, наоборот, решительного отмежевания от всего канонического ради прогрессивных и модных дискурсов, то будет приятно удивлен. Автор — умница, иначе просто не скажешь. Да, он берется за такой чувствительный (sensitive) вопрос, как вера и теория Дарвина, но обращается с ним(и) так тактично... «Коротко говоря, в этой книге мы рассмотрим, как теория эволюции связана с христианской верой. Это важно для разных групп людей. Прежде всего, конечно, для христиан, которые хотят поразмышлять над теорией эволюции, потому что они чувствуют вызов с ее стороны своей вере». Сразу констатируя, что с научной точки зрения дарвинистская теория соответствует действительности, во всяком случае, подтверждений ей много, а ничего лучше для объяснения возникновения жизни на земле еще не выдумали («я принимаю эволюционную теорию не так, как если бы я был ее приверженцем, но как наиболее адекватную в наши дни научную теорию, подходящую для объяснения биологического разнообразия на земле»), автор признается, что раньше вообще однозначно выступал против теории божественного творения —

«в своем исследовании 2004 года, посвященном вере и науке, я отвергаю креационизм³⁰, но в то же время говорю об ограниченности нашего научного знания». Нет, эта книга посвящена не столько пересмотру его личных воззрений, сколько интересу ван ден Бринка — «климат мнений» во всем его многообразии, то, как видят этот вопрос из разных лагерей и, что важнее, какой подход мог бы стать примирительнее, продуктивнее. «Поэтому на протяжении своей книги я стараюсь придерживаться максимально нейтральной позиции». И у него это получается — никакого иронического подтекста, игр с высказыванием и прочих риторических подколов!

К вопросу дарвинизма он подойдет весьма ответственно. Без лишних экскурсов в историю (вопрос тут не назвать неизученным), но тонко подмечая и привлекая все те моменты, что понадобятся для разговора. Даже такой, например, что термин восходит к латинскому глаголу *evolvere*, буквально означающему «откатывать, разворачивать»³¹ и задействован, оказывается, и в названии автомобильной марки Volvo («я катаюсь»). И в более глобальном плане — можно понять, что автора «И произвела земля...» больше интересует не механизмы естественного отбора, а то, что «в течение очень длительного периода на Земле появлялись все более сложные формы жизни», то есть — то возвышение, тот путь от простого и профанного к более гармоническому и возвышенному, о чем, если обобщить, говорили и все рассмотренные выше авторы.

Мотив возвышения появится, кстати, и в тех местах, где ван ден Бринк не то что, по Холдену Колфилду, «отвлекается», но расширяет контекст. Говорит, например, о животных — и опять же не в духе новомодного экологизма, но продвигает очень здравую мысль, — рассуждая о том, что животные могут так же, как и человек, страдать и испытывать эмоции, он призывает: «Почему бы не сказать, что наша тесная связь с животным миром, как показывает теория эволюции, повышает достоинство животных, а не снижает наше человеческое достоинство? Выражаясь богословским языком, может ли быть так, что мы должны расширить понятие *imago Dei*, чтобы могли подпасть под него?»³²

Представленная книга, как уже было сказано, прежде всего, это работа с мнениями, взглядами — что можно взять из них, что ценное произрастет из этих плевел или ценных злаков. Спектр же взглядов тут — даже в наши дни, если и не брать все соборы и все трактаты — еще ох какой! Один спор остроконечников и тупоконечников (зачеркнуто) младоземельных и поздземельных креационистов чего стоит. Младоземельцы буквально следуют Библии, трактуют возраст земли не в миллиарды, но тысячи лет (поздземельцы придерживаются соответственно более реалистичной хронологии). Против их креационистской теории, как легко догадаться, можно привести множество аргументов. Не просто нахождение пластов земли, окаменелостей и их углеводородный анализ, но и более глобальный довод — если Богу надо было (или мы не так поняли свидетельства и их изложение) создать иной исторический счет, то, в таком случае, «разве Бог — не Бог истины? Более того, если Бог одурачивает нас в природе, как мы можем знать, что он не делает этого в Писании?» Против геологических напластований у младоземельцев есть свой контраргумент: был потоп, все слои смешало и напластовало; против теологических — это уже в богословские дебри. Где существуют самые разнообразные теории — и *gap theory* (теория разрыва, существует с позапрошлого века, согласно которой между Быт. 1:1 и 1:2 локализируются те миллиарды лет, что прошли, по научным исчислениям, с момента сотворения космоса), и *day-age theory* (взгляд на день творения как на эпоху). И та, например, которую больше всего, кажется, склонен рассматривать автор, — Адам и Ева не были первыми людьми, они лишь были избраны из первых поселений людей, а «кейс грехопадения» — опять же метафора отпадения от примордиальных времен, апостасийный его аспект. «То, что Адам и Ева не считались тогда единственными людьми на земле, ясно уже из самого текста Книги Бытия (см. прежде всего: Быт 4:14,

17). Адам и Ева не принадлежали к первой группе *Homo Sapiens*. Джон Уолтон отмечает, что в Быт. 2:3 также говорится не столько о материальном происхождении человека, сколько о происхождении греха».

Не стоит, впрочем, думать, что споры и попытки адаптации устоявшегося знания происходят только в теологии. Вокруг теории эволюции, как известно уже лучше, бушуют свои дискуссии. Например, «важные дебаты о том, чем именно оперирует естественный отбор: формируют ли “эгоистические” гены единицу отбора (как утверждал Ричард Докинз), отдельные организмы и группы (как думал Дарвин) или, возможно, даже целые виды (как предположил Стивен Дж. Гулд)?» Все это, конечно, не локальные уточнения, потому что меняют, направляют в другую сторону магистральную оптику эволюционной теории.

Есть и просто забавные «обобщающие» воззрения — так, в «религиозном лагере», есть изящное мнение, что поскольку эволюция и происхождение видов и человека крайне сложны, здесь не могло обойтись без божественного провидения.

Или, скажем, есть даже теория теистической эволюции, утверждающая, что коли сами мутации все же случайны, не существует такого физического механизма, который определял бы, какие именно мутации полезны, то они несут метафизический смысл: Бог использует эволюционный процесс для создания оптимальных организмов.

Уже из приведенных отрывков видно, что подспудно в этих суждениях присутствует некоторая интенция к синтезу, объединению, инкорпорированию современного научного знания в традиционные религиозные представления (и обратно, почему нет).

Тем более что материи тут, действительно, весьма сложные. Вот — опять же от теологов, мы все же имеем дело с богословской книгой, а не с очередным научпопом, — например, опять же не лишнее утонченности и метафоричности мнение, что Бог адаптировал даруемое им знание под уровень той эпохи. Еще Кальвин писал о том, «как мало здравого смысла у тех, кто не понимает, что Бог делает с нами то же самое, что и женщины, которые заботятся о маленьких детях и обычно при этом используют тарабарщину? Такие формы речи не столько ясно выражают то, на что похож Бог, сколько приспособливают знание о Нем к нашему немощному восприятию»³³.

Что же касается иллюкативных посылок синтетических теорий, то и они разнообразны. Так, конкордизм явно стремится к примирению религии и науки, в соответствии с ним «две книги Бога — природа и Писание — не противоречат одна другой, а скорее подтверждают друг друга». А пресвитерианский философ и ректор Принстонского университета Джеймс Мак-Кош (1811—1894) утверждал, что «теория эволюции, если она правильно понята и строго научно обоснована, совместима с целенаправленным развитием жизни на Земле. Мы могли бы даже ожидать появление нового Пейли, который продемонстрировал бы наличие замысла в системе Дарвина».

Не думаю, однако, что для Гайсберта ван ден Бринка важно утверждение какой-либо отдельной теории. Ему, думается, гораздо важнее наличие, возможность того подхода, что исключал бы распри и размежевания — актуально для нас, правда, когда мир, близких и друзей разрезает проблема восприятия то ковида, то украинских событий? — между сциентистами и верующими. Его главный мотив, как и у Милбанка, — это защита от крайностей обоих «лагерей» («Дарвин справедливо утверждал, что наука должна быть освобождена от господства Писания, но и Писание следует защитить от господства науки»), примирение их и возможная адаптация теологического. «Другими словами, даже если дарвиновская эволюция — это теория в кризисе, то это не означает, что с “религии старого времени” сняты все подозрения, поскольку у нее все еще есть все основания пересмотреть наши богословия в свете необъятности геологической шкалы времени, постепенного появления различных форм жизни на Земле». Исследователь отмечает даже: «можно сказать, что теория эволюции не столько противоречит подобному богословию, сколько, наоборот, его

требует. Отнюдь не объявляя христианскую веру и христианское богословие чем-то в значительной степени излишним, она делает их еще более важными».

Иными словами, «христиане, следовательно, не должны выступать против неодарвинистской теории эволюции на основании своей веры; и христиане не должны бояться, что им придется сделать что-то невозможное, чтобы стать христианами, а именно отвергнуть дарвиновскую теорию эволюции, которую они считают истинной».

Подобное отсутствие мысленного страха оптимально так же и в отношении тех рассмотренных нами мыслителей, что или существенно отклоняются от ортодоксальной точки зрения, или же работают, нащупывают новый синтез в рамках старого мировидения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Юнгер Э. Уход в Лес / Пер. с нем. А.Климентова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. С.80.

² Я писал о предыдущем, третьем томе «Тетрадей»: Симона Вейль: «Ад есть пламя, жгущее душу. Рай тоже» // Перемены. 2020. 25 марта (<https://www.peremeny.ru/blog/24498>).

³ Ассоциативно вспоминается афоризм Валери о том, что «дружба, любовь — это возможность быть слабыми вместе».

⁴ Или как Карл Юнг охарактеризовал Джона Ди — terrible speculator, ужасный спекулятор.

⁵ Кругман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. — Челябинск: Аркаим, 2003.

⁶ «Смерть Симоны стала важным, глубоким, загадочным комментарием ко всему ее философствованию — и может стать его продолжением и жизнью в нас», замечательно веско финализирует эту тему П.Епифанов. Что же касается самоналоженного поста и аскезы, было бы вольно, но интересно сравнить это с жизнью тайных монахов и монахинь в миру при том же негативном ко всем проявлениям религиозного советском режиме, наподобие Натальи Трауберг или Алексея Лосева. Или вспомнить Б.Поплавского: «Боже, что хочешь Ты от нас и о чем молиться Тебе? Нет, ни чистотой, ни силой, ни светом нельзя заслужить Тебя. <...> Только нищетою».

⁷ Впрочем, это не новость еще со времен Кьеркегора, обнаружившего, что «быть чужим, быть изгоем — это знак христианского смирения».

⁸ Именно после 24 февраля я вспомнил эту особенность — если общение с друзьями-интеллектуалами, даже близкими, заканчивается политическими спорами и негативом в итоге, то с «простыми людьми» можно обсудить что-то более существенное, чем политические абстракции и пристрастия в чьей-либо голове, например, ремонт на даче, и в результате разойтись и «в профите», и «в позитиве».

⁹ И известно из первого тома «Тетрадей»: примерно с осени 1940 года Симона ходит в Марселе на лекции по китайской культуре и берет уроки санскрита для самостоятельного чтения Упанишад.

¹⁰ Сама группа Бурбаки — очень любопытное явление, разговор о котором, к сожалению, напрямую не соотносится с заявленной сейчас темой, см.: Hartnett K. Inside the Secret Math Society Known Simply as Nicolas Bourbaki // Quanta Magazine. 2020. 9 ноября (<https://www.quantamagazine.org/inside-the-secret-math-society-known-as-nicolas-bourbaki-20201109/>), русский перевод — <https://habr.com/ru/post/530582/>).

¹¹ См.: Чанцев А. Присутствия при крушении мира // Питерbook. 2018. 8 ноября (<https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/retsenzii/prisutstvuya-pri-krushenii-mira.html?>).

¹² В сноске заметим, что концепт Другого, который не сходит сейчас со страниц даже окологлобалистских публикаций, Эвола походя использовал еще в начале 1920-х, ровно веком раньше.

¹³ Сошлюсь на мой отзыв о книге «Политическая доктрина Юлиуса Эвола в контексте “консервативной революции” в Германии». Чанцев А. Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико: дадаизм, импрессионизм и традиционализм. // Дружба народов. 2021, № 6 (<https://magazines.gorky.media/druzhba/2021/6/pero-di-kozimo-sobrat-de-kiriko-dadaizm-impresionizm-i-tradicionalizm.html?>).

¹⁴ Проблеме бессмертия, как и управлению реальностью сна, у Эвола посвящены отдельные части книги. И это не должно фразировать и разочаровывать. Вокруг увеличения сроков жизни строились трактаты даосских алхимиков, из которых выросла та китайская традиционная медицина, которая сейчас в большой чести во всем мире. Пассажи же вроде

«Реальность — это мощная и постоянная галлюцинация, точно так же, как галлюцинация — слабая и мимолетная реальность» предвосхищают да и во многом отменяют старания Кастанеды, Коэльо, Пелевина и прочего новомодного New Age'a.

¹⁵ Которой был посвящен предыдущий блок моей рубрики — см.: Иные маршруты звездолета Земля // Дружба народов. 2022, № 6 (<https://magazines.gorky.media/druzhiba/2022/6/inye-marshruty-zvezdolyota-zemlya.html>). Будущая третья часть, которая будет посвящена маргинальным религиозным практикам, продолжит эту своеобразную трилогию из области альтернативной мысли.

¹⁶ См.: Чанцев А. Атомная воля инспектора творения. // Новый мир. 2011, № 1 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2011/1/atomnaya-volya-inspektora-tvoreniya.html?).

¹⁷ Можно отметить, что фигура Данте имела большой символический вес в Италии Муссолини и Эволы, имя его даже фигурировало в гимне итальянских фашистов. Есть ли, интересно, теоретические работы об этом?

¹⁸ И не только церкви. «Семьи, города, окрестности, страны, и наконец, империя и Церковь, так же, как и отдельные люди, предстают как единство, которое взвешено на вечных весах и найдено слишком легким, все они выверены и выпрямлены, отвергнуты и одарены новыми обетованиями».

¹⁹ Трогательно, даже *умилительно*, как итальянское слово *umilita* (архаический вариант, современное написание — *umilta*), означающее «смирение» (от латинского *humilis*, *humus* = тегга), оказывается созвучно русскому «умалению».

²⁰ Вейль и привлекает Данте, например, в предыдущем третьем томе русского издания для гипосташирования вопроса справедливости — и «прозрачности» Божественной воли: «Ответ, полученный Данте на вопрос об осуждении древних (т.е. живших до Христа вне Израиля): “Это кажется несправедливым твоему человеческому уму, ибо это справедливость божественная”. (Это и о бойне, <учинённой> Иисусом Навином в Иерихоне, и проч.) Абсолютно незаконное использование понятия тайны. Надо различать те абсурдности, которые отбрасывают свет (Троица, Воплощение), и те, которые отбрасывают тьму. Каков критерий? Нужно найти критерий».

²¹ Об этом и, конечно, об использовании Данте «народного» языка пишет Джон Милбанк, о книге которого мы поговорим далее, сравнивая проект Экхарта и Данте в том смысле, что онный «подразумевал передачу мирянам на народном языке спекулятивной и мистической католической традиции, в сердцевине которой была идея аналогической причастности».

²² Милбанк делает следующий вывод из положений Гердера: «доступ к истине о человечестве и природе может быть лишь эстетическим», «поскольку всякое знание возникает посредством выражения реальности в знаках», никак не связанных напрямую с реальностью, а «эстетический выбор конкретного языкового содержания, в котором проявляется природная энергия, должен восприниматься также и как манифестация истины». То, как эта импликация соотносится с традиционной калогатией, составляет интересную побочную тему.

²³ Вспомним тут трактовку Платона А.Ф.Лосевым: «Поэтому насчет видимого по природе, размыслив, он вывел заключение, что ничто неразумное никогда как творение не будет прекраснее того, что имеет ум, если сравнивать и то и другое как целое; а ума не может быть ни в чем без души. Следуя такой мысли, ум вселил он в душу, а душу — в тело и построил вселенную так именно, чтобы произвести нечто по природе прекраснейшее и чтобы творение вышло совершенным. Таким-то образом, ограничиваясь вероятностью, надобно полагать, что этот космос промышленiem Божиим получил бытие как живое существо, одушевленное и поистине одаренное умом”. Тут мы видим целую иерархию принципов — ум, душа, тело, что по отношению к космосу дает космический ум, космическую душу и космическое тело. Тело космоса, таким образом, одушевлено душой и одарено умом, т.е. космос есть живое разумное существо». Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 577.

²⁴ Критику науки тогда, когда она лишена фундаментальных направляющих оснований, которую мы встречали в самом начале и у Эволы, нельзя назвать новой, см. у того же А.Ф.Лосева: «Но вот, наука — абсолютно свободна и всемогуща, будучи, по существу, не чем иным, как абстрактным и рассудочным построением. Это значит, что она живет соками чего-то иного, на место чего она готова стать ежеминутно. Это, несомненно, признаки либерального мировоззрения. Это возможно тогда, когда существуют в данном режиме такие дураки, которые даром кормят своих собственных разрушителей. Только при этих условиях и могут существовать как сами разрушители, так и их необходимое социальное орудие, нужное только им и больше никому другому, т.е. это свободное искусство и абсолютно свободная, всемогущая и самодовлеющая наука. И если для Запада как раз характерны эти идеи свободных наук и искусств (тут эти идеи были всегда “передовыми”), то это только потому, что почти вся история Запада есть не что иное, как либеральная критика средневековья. В этом вся его “душа”. В этой мере только и имеет смысл свободная наука и свободное искусство. Но, повторяю, если бы средневековое мировоззрение было бы покрепче, оно никогда не допустило бы никаких

свободных наук и искусств. Наука, искусство, философия не только “слуги богословия”, но слуги всякого твердого режима. Пролетарское государство, например, никак не может и не должно допускать существования свободного искусства и свободной науки. Допустите свободную науку, и она начнет вам опровергать теорию Дарвина или механику Ньютона». Там же. С. 837.

²⁵ На русском выходило его совместное с Жижекком сочинение «Монструозность Христа» (М.: Рипол Классик, 2020) — вряд ли оно одно подошло бы для полномасштабного знакомства.

²⁶ Допущу замечание в духе рецензента, стремящегося привлечь к книге хоть и посторонним, хоть чем-то, но из этого обширного тома можно почерпнуть сведения не менее просторного спектра: от стигматизации задней части человека в силу ее профанности до идеи Балланша о создании приютов для проституток и содержания преступников и нищих не в тюрьмах, но в семьях. Или же суждений волонтаристов о том, что Бог может желать, чтобы мы его ненавидели.

²⁷ «Хотя некоторые элементы Марксова анализа сохраняют свое значение, более основательная критика капитализма обнаруживается в традициях христианского и республиканского социализма».

²⁸ Еще раз отмечу большой плюс Милбанка, многим бы поучиться его манере дискутировать: самых крутых оппонентов он может обвинить в ошибках, самых непримиримых врагов может уважительно процитировать. С тем же Ницше — сначала Милбанк использует его для опровержения его же собственных генеральных положений («В этом и заключалась трагическая проблема Ницше: до конца честный западный разум приходит к осознанию того, что сам он является лишь жалкой человеческой проекцией»), а затем, буквально парой абзацев ниже, процитирует весьма уважительно («И наоборот, остаться с одним только разумом — значит (как справедливо заметил Ницше) выбрать неразумие»).

²⁹ Как раз в отношении Бальтазара у Милбанка один раз возникает чуть ли не упрек в антимодернизме: «Напротив, Бальтазар гораздо более акцентированно настаивал на “разуме веры” как таковом (равно как и на эстетике и этике веры), но, несмотря на этот фидеистический крен в духе Барта, он также был склонен допускать относительно большую автономию сферы разума». Не возводит он и очи долу и не призывает на них гром небесный, когда разбирает такие утверждения оппонентов, как, например, Сегундо, утверждавшего, в частности, «невозможность разделить добро и зло, добродетель и порок, любовь и эгоизм. Разделение этих двух элементов в конструктивных условиях человека означало бы уничтожение самого конструктивного условия в рамках всего человеческого существования, — по крайней мере, нынешнего человеческого существования».

³⁰ Впрочем, и в этой книге он зачастую действует как заправский адвокат дьявола, приводя, в частности, те или иные научные доводы, доказывающие состоятельность теории Дарвина и невозможность буквально воспринимать сказанное в Библии.

³¹ Здесь было бы интересно порассуждать о корнях и семантике слов «революция» и «метанойя» (перемена, переосмысление), но это не входит в сферу вопросов автора и, соответственно, наших.

³² Отметим тут «русский след» — именно о воспитании, возвышении до человека животных писал Даниил Андреев в «Розе мира», а Татьяна Горичева в последние годы не только активно занимается экологическими проблемами, но и пишет о христианской, православной экологии (см. ее книги «Молчание животных», «Блажен иже и скоты милует», «Говорящие “Да”»).

³³ Впору подумать, не «Наставления в христианской вере» ли цитировали авторы ходящего по Интернету мема об оправдывающемся Создателе: что, мне Моисею в Декалоге нужно было теорию ДНК излагать?

Ольга Балла

Фотография гомункула рядом с памятником Ленину

Алексей САЛЬНИКОВ. Оккультрегер: Роман. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. — 411, [5] с. — (Классное чтение)

Первое впечатление от нового романа Алексея Сальникова (впечатление поверхностное, спору нет, но проговорить его необходимо) таково, что автор бьёт из пушек (очень серьёзных пушек, устройство которых он, скорее всего, сам понимает не вполне, и вряд ли ему в рамках текущих задач это требуется) по воробьям. Он заимствует, видоизменяя их под свои актуальные надобности, элементы больших мифологий — собственно, почти единственно христианской: действующие у него под человеческими личинами ангелы, херувимы, престолы (с их предельно неясной у Сальникова иерархией), а также вполне дружественные им (и не очень-то от них отличимые) бесы и черти — все сплошь оттуда. Из обширной алхимической традиции автор заимствует гомункулов (видоизменяя их смыслы и устройство, согласно собственному произволу, едва ли не радикально: в частности, в его мире гомункулов никто не изготавливает искусственно. Зато они непременно сопровождают так называемых оккультрегеров и тем самым вообще делают возможной их оккультрегерскую практику, о которой ниже). Из многих традиций сразу — без внятных отсылок к какой бы то ни было конкретной — Сальников берёт идею реинкарнации, причём, что самое интересное, так сказать, прижизненной: существам, подхватившим в XXI столетии в качестве своего названия словцо «оккультрегеры» (в иные века у них, по всей вероятности, были другие обозначения), ради того, чтобы перевоплотиться, нет нужды умирать, тем более что они, при сохранении определённых условий, бессмертны. (Вот и сюжет, — глубоко вторичный, инструментальный по отношению ко всей демонологии, которую автору чувствуется важным выговорить; вторичный настолько, что настоящее его развитие начинается во второй половине повествования: у оккультрегера Прасковьи, претерпевающей очередные свои перевоплощения в 2019 году в городке на Урале, отнимают гомункула — лишая её тем самым возможности быть оккультрегером. Она его разыскивает и возвращает. На этой кристаллической решётке осаждается много всего.)

Обращается Сальников и к (пост)мифологиям малым, властным над нынешними умами (где-то на страницах книги мелькают, единожды помянутые, дементоры из Джоан Роулинг). Из всего заимствованного Сальников конструирует собственную мифологию — эклектичную, не слишком последовательную, в изрядной степени (но не тотально) ироничную и очень искусно, я бы сказала, органично комбинирует всю эту демонику с элементами нашей с вами сегодняшней повседневности.

Почему-то всё время думается о том, что автор снижает, упрощает и уплощает предметы, имеющие традиционный (стоит, правда, признать, что — давно уже

порядком истёршийся) статус высокого, банализирует крупное (если ради важной цели — то, наверно, почему бы и нет. Но есть ли она тут?). Что он пользуется как бы чучелами больших идей и образов, набитыми соломой и сором нынешней повседневности.

Понятно, что это такая игра, в полной мере санкционированная постмодернизмом как (также давно уж утратившим бодрящие свежесть и новизну) культурным состоянием. Игра, даже захватывающая в своей непредсказуемости. (Ух ты! — думает читатель на каждом очередном повороте, — а что же дальше-то будет?.. Гарантирую, читатель: твои ожидания на каждом из соответствующих поворотов без изъятия будут искусно обмануты, тут автор виртуозен.) Однако вот беда: при всей своей многообразной затейливости эта игра не усложняет видение ни мира, ни социума (с видением человека — всё не так однозначно; вернёмся к этому чуть позже), скорее уж напротив — заметно это видение упрощает; отбирает у него метафизическую глубину. Пуще того, при этом размывается такая коренная, держащая на себе все без исключения мифологии мирообразующая оппозиция, как противостояние Добра и Зла. И уже совершенно отказывается автор от их христианских персонификаций — от Бога и сатаны (ну то есть: мифологическую периферию христианства он берёт, к религиозной сердцевине — даже не прикасается; так и хочется сказать — и правильно делает). Их там нет вообще, даже на уровне упоминаний, в результате чего вся демоно- и ангелологическая конструкция в романе напоминает курицу с отрезанной головой, которая, прежде чем упасть, ещё как-то бегаёт по кругу. Уточним: Творца точно нет, а вот совсем обойтись без второго Лица Троицы — при активном-то востребовании христианского материала — всё-таки не получилось. Он мелькает — беглым упоминанием, не открывая ни Своего настоящего имени, ни Своего лица. Зато автор делает смелое предположение о Его истинной природе.

Престол говорит героине-окультрегере о её гомункуле (который при любых перевоплощениях неизменно оказывается ребёнком, самое большое — подростком, но никогда не старше): «Ты можешь приказать расти, тогда он станет взрослым. Такое две тысячи лет назад произошло, если ты понимаешь, о чём я.

Прасковья притворилась, что не понимает.

— Это он про Кришну? Хотя тот гораздо раньше родился...»

Итак, исходной мирообразующей оппозиции Сальников не упраздняет совсем, — такое, особенно при интенсивном заимствовании мифологического инструментария, вряд ли было бы возможно, — он именно размывает, сильно ослабляет её. В задачи его оккультрегеров (не очень, правда, понятно, кем поставленные) входит постоянное истребление некоторой не слишком отчётливо выраженной «мути», — в мире, смоделированном Сальниковым, «муть» представляет за Зло — за разрушительное начало, кажется, более всего прочего (надо сказать, что этой «мутью» автор нас как следует даже и не пугает; мудрено ли, что нам не страшно). Оккультрегеры также заботятся о том, чтобы не остывали (не теряли, стало быть, бытийной энергии) города, а под Новый год забирают себе человеческие дурные воспоминания за ушедший год, оставляя людям только хорошие, — и вот ещё одна задействованная здесь (пост)мифология новейшего времени, согласно которой в Новый год, простою волею календаря, случаются чудеса (кстати, время в романе расчислено по календарю: время его действия — от нового 2019-го до нового 2020 года). Тем самым оккультрегеры берут на себя некоторые функции Деда Мороза, ответственного за то, чтобы старый год, уходя, забрал с собой всё плохое и оставил новому только хорошее (и, к счастью, в разнообразной демонографии романа не представленного). Таким образом, они, надо понимать, на стороне метафизического Добра, жизни, неразрушения. Ну что ж, допустим.

(Не откажем себе в удовольствии небольшого спойлера: и обогревание городов, и новогодняя очистка воспоминаний, и даже борьба с мутью оказываются на периферии сюжета.)

Не оставляет также мысль и о том, что автор, увы, оказывается тут не вполне

на высоте собственного замысла, — не использует всех предоставляемых этим замыслом богатейших возможностей. Бессмертие, многожизние, многообразие исторического опыта, которым обладают его «оккульттрегеры» и сопутствующая им потусторонняя публика, каким-то образом умудряются совершенно не сообщить их мировосприятию новых, неожиданных измерений. Этот опыт не укрупняет их (хм, он ведь даже не делает их умнее). Он (очень человеческим образом) даже и помнится весьма фрагментарно. Так, цитированный выше престол сообщает оккульттрегерше Прасковье: «Ты раза в три старше, чем думаешь. [Девушка до тех пор была уверена, что ей всего двести лет. — О.Б.] И да, ты в Польше пожила, в Башкирии. Это что-то меняет?»

В том-то и дело (и в этом согласны все участники разговора, включая, кажется, автора), что — ничего.

Опыт не задаёт сальниковским бессмертным иной психологии (кроме разве завидного для смертных равнодушия к физическому умиранию и смерти: ну, даже если умрёшь — то есть, даже если убьют, «своей» смертью они не умирают ввиду отсутствия таковой, — потом тебя опять воскресят, их коллеги это умеют — на уровне, так сказать, рутинной практики, хоть несколько раз подряд), иных типов мышления. Он, надчеловеческий, вообще не делает их принципиально *другими* (некоторые отличия в физиологии совершенно не в счёт, тем более что, сформулированные открытым текстом только на 350-й странице, — эти отличия именно психологически несколько их не меняют).

«Обычная девочка на самом деле, — говорит героиня-оккульттрегер своим коллегам о демоническом младенце, в которого нетипичным образом посмертно реинкарнировалась матушка одной из коллег, известная в прежней жизни своим дурным нравом. — Как и в любой девочке, тёмные силы в ней борются с ещё более тёмными силами».

Мировосприятие у этих иноприродных существ на удивление плоское — отличное от того, что свойственно (замотанным, усталым, не особенно просвещённым, как правило, довольно несчастливом) людям одного (нашего) времени и одной-единственной жизни разве что единственным: степенью усталости, которая у этих бессмертных существ, сколько ни забывай, всё-таки многовековая, да, пожалуй, ещё (неминуемо с этой усталостью связанной) повышенной степенью цинизма (впрочем, надо признать, почти ничто человеческое им ни в малейшей степени не чуждо, и даже милосердие иногда стучится в их сердца). Сальников создаёт как бы ещё один, в дополнение к и без того существующим, слой нервной рутины со своими типовыми, привычными сложностями вроде «линьки» (полного перевоплощения, вкупе со всей бытовой обстановкой, именем и документами) каждые божьи четыре месяца у оккульттрегеров и непременно сопутствующих им гомункулов. Рискну сказать, сложность этих сверхчеловеческих персонажей довольно одномерна, и дальше своих данных текущими обстоятельствами носов они не очень-то видят. Человеческое, слишком человеческое.

А вот что у Сальникова великолепно, так это всё, традиционно относимое к так называемому реализму. К чувству и пониманию обитаемой нами здесь-и-сейчас реальности с её подробностями, обертонами и подтекстами. Психология, социальная антропология, повседневные практики и техники, сегодняшняя речь во всех её живых особенностях. Как и было замечено, демонические элементы своей конструкции он сращивает с, так сказать, настоящими совершенно бесшовно.

Вот, например, Прасковья, выпав по некоторым обстоятельствам из активной оккульттрегерской практики, подглядывает в соцсетях, чем заняты коллеги Наташа и Надя.

«Подсмотреть удалось, правда, не так уж много. Всего-то несколько совместных снимков Наташи, Нади и ещё двух девушек (кто из них Надина мама, Прасковья определить не смогла). Эта совместная тусовка в городе продлилась неделю, затем, как Прасковья поняла, делегация в составе Надиной мамы, Наташи и помощницы

из Москвы отбыла в Нижний Тагил. Ещё через день Наташа выложила фотографию гомункула рядом с памятником Ленину (гомункул стоял возле памятника, а чугунный или какой ещё Ленин стоял на чугунном или каком ещё земном шаре). Буквально несколькими годами ранее памятник из чёрного металла выглядел устаревшим, а теперь оказался очень предусмотрительно установленным символом левой повестки, всё более набиравшей обороты. Так примерно сообщала Наташа своим подписчикам, а затем пропала из сети».

И более того: Сальников даже раздвигает рамки этой реальности, вылепливая новые её измерения из неё же самой.

У него получаются не просто сильные, но до оторопи убедительные, физиологически точные описания того, что, по идее, в принципе не способно быть предметом живого опыта ни для одного из нас: воскрешение мёртвых (показанное как извне, так и изнутри); пересечение границы жизни и смерти по несколько раз в обоих направлениях (так, главную героиню, оккультистрегера Прасковью, по её доброму согласию, расстреливают несколько раз подряд — для того, чтобы убийца её, тоже сверхъестественное существо, недопустимо помолодевшая, могла повзрослеть на столько лет, сколько раз она бедную Прасковью убьёт; убитую всякий раз воскрешают). Для развития основного сюжета книги соответствующие эпизоды, строго говоря, совершенно избыточны (благополучно повзрослевшая убийца никогда более на страницах романа нам не встретится), но они дают в некотором смысле гораздо больше, чем этот самый основной сюжет, который, в общем-то, при всех своих витиеватостях и именно благодаря им, не более чем средство для удержания читательского внимания.

В целом же складывается впечатление, что Сальников избрал извилистый и окольный путь того только ради, в конечном счёте, чтобы (в очередной раз) рассказать о современной русской провинциальной жизни, трудной, злой, тёмной, с совсем небольшими, ненадёжными и недолговечными, но тем более драгоценными клочками уюта и тепла, с (простой межчеловеческой, а хоть бы и междемонической) любовью, которая, кажется, одна всё это освещает, освящает и спасает.

(Можно, конечно, задуматься в свете этого о состоянии нынешнего общекультурного, решительно постмифологического и совершенно очевидно пострелигиозного сознания, испытывающего несомненную потребность в собственных мифологических корнях — для весомости всего проживаемого, вероятно? — живой контакт с которыми давно уже утрачен, но потребность-то остаётся. Вполне вероятно, сегодняшнее сочувственное прочтение многими сальниковского романа связано в значительной степени с этим — да ещё со вполне общераспространённым чувством того, что, как сказано у Сальникова и показано им на самом деле, что ни на есть обыденном материале, «реальность треснула». Да и в «простой» потребности в волшебстве, в конце концов. Чтобы можно было — не обязательно, конечно, воскрешать мёртвых, хотя почему бы и нет, но — «подправлять» память, переноситься / быть перенесёнными «в другое место и другое время»...)

Картина времени-и-места получилась исключительно (так и хочется сказать — документально) точной. Сальников — прекрасный психолог, портретист, физиогномист, вообще отменный наблюдатель деталей и складыватель их в узнаваемые комплексы. Создаваемые им человеческие (включая и, так сказать, сверхчеловеческие) типы и ситуации на каждом шагу наполняют читателя радостью (нередко печальной) узнавания. При всём этом не оставляет чувство, что избранный и сконструированный им для портретирования современной русской жизни затейливый метафизический инструментарий, будучи очевидным образом недостаточен сам в себе (с его эклектичностью, неполнотой, неточностью...), одновременно избыточен по отношению к основной задаче текста. Он, как и было сказано, не расширяет, не углубляет, не усложняет предлагаемого текстом понимания мира и человека, не проблематизирует это понимание некоторым небывалым прежде образом, не находит новых углов зрения (ну почти: о возможности пережить опыт умирания и воскрешения мы уже говорили). Он разве что (ярко) подчёркивает и (резко) заостряет уже известное, родное и знакомое. Что тоже, как подумаешь, немало.

Борис Минаев

Побыть Незнайкой

«Колизей» был одним из старейших кинотеатров («электротеатров») Москвы, в знаменитом кинофильме «Покровские ворота» есть кадры — толпа клубится на его ступенях, Савва Игнатьевич достает билеты и, счастливый, спускается к своей возлюбленной жене.

Когда «Современник» из здания Дома культуры на Маяковской переехал сюда — казалось, что теперь, со своим «настоящим», удобным и прекрасным помещением, у любимого театра интеллигентской Москвы (одного из двух любимых) — все будет хорошо. Но старые МХАТовцы добились того, чтобы Олег Ефремов ушел к ним, уговорили его — и вместо художественного руководителя некоторое время театром руководил «худсовет», состоявший из Табакова, Волчек, Кваши, Евстигнеева, не ушедших вслед за Олегом Николаевичем, и больше того, на всю жизнь сохранивших на него некоторую обиду.

...Давно уже написаны воспоминания о том времени, в которых так или иначе описан этот удивительный период «коллективного руководства» — но мемуары мемуарами, а то, что там происходило внутри, какие были искры, молнии и подводные течения, как непросто им давались эти общие решения, мы до конца так и не узнаем никогда.

Табаков (он был директором театра) в своих мемуарах описывает знаменитый поход к Гришину, тогдашнему партийному начальнику Москвы, когда они назначали на должность «художественного руководителя» театра Галину Борисовну Волчек. И этот знаменитый диалог: «Но ведь она еврейка, беспартийная!» — «Но ведь она талантливый человек!» — никогда, конечно, не выйдет у меня из головы.

Причем тут, казалось бы, «еврейка», «беспартийная», если речь идет о театре? Сегодня, казалось бы, такой диалог невозможен, а вот поди ж ты — «Современником» вновь руководит худсовет.

Виктору Рыжакову, который после смерти Волчек руководил театром около трех лет, не продлили контракт. Только-только начавший становиться на ноги новый «Современник» с его культом «шестидесятников», молитвенным и почти музейным отношением к тому, первому «Современнику», с его ставкой на молодых режиссеров, на недавних студентов и на «новые формы» (как нас и учил Антон Павлович Чехов) — вновь остался без худрука.

Все сначала.

Вообще-то это тяжело... Тяжело, я бы сказал, все: сохранять репертуар (а в нем, я посмотрел афишу, соседствуют и старые спектакли эпохи Волчек, с ее ставкой на звезд — Лию Ахеджакову, Марину Неёлову, и новые рыжаковские), труппу, творческие подходы, административное управление, сохранять зрителя, да вообще всё.

Однако, возвращаясь к разговору о «еврейке» и «беспартийной» — ведь тот поход Табакова к Гришину был совсем не случаен. Тогдашнему худсовету, яркому и талантливому, было очень страшно — как быть, чтобы не прислали «варяга», человека со стороны, чуждого эстетике и этике «Современника»? И решили выдвинуть худрука из своих.

В том же состоянии и сегодняшний худсовет театра — в него входят народный

артист России Владислав Ветров, Алёна Бабенко, Сергей Гирин, Светлана Иванова, Людмила Крылова, Полина Рашкина, Иван Стебунов и Александр Хованский.

Ветров — один из ярких и крепких актеров «Современника», Стебунов запомнился в роли Чацкого, когда «Горе от ума» тут ставил Римас Туминас, Алёна Бабенко, яркая актриса, известная по своим киноролям, и вообще по работе в кино (прекрасная, например, была роль в «Водителе для Веры», но когда это было — почти 20 лет назад), остальных я знаю меньше.

Очевидного худрука здесь явно нет, да и появится ли?

Поэтому, когда я шел на «фестиваль сторителлинга», которым «Современник» открывал свою новую летнюю сцену — «Театр во дворе», меня мучили сомнения и в то же время одолевало любопытство: а что, собственно говоря, я увижу, пойму ли, что происходит на самом деле в театре (а мне хотелось, конечно, понять)?

Действо, которое задумали режиссеры Алексей Розин и Илья Барабанов, было рассчитано на два дня. Пройдя сквозь пустое летнее фойе, я оказался в узком дворе-колодце, зажато между невыразительных строений, на сцене играли интеллигентные музыканты, над узкой сценой горел театральный свет, надо мной было московское небо, совсем небольшое количество зрителей — как хорошо!

Действительно, ведь лето — это время, когда мечтаешь о любом театре, если застрял в городе.

Сегодня сторителлинг — важнейшая часть мировой культуры, это и возврат к архаичным практикам коммуникации, и, с другой стороны, сверхновая идея «отрыва» от надоевших цифровых, механических коммуникаций, и целая система культурных и социальных интерпретаций идей, книг, ценностей — словом, это когда люди рассказывают другим людям истории. Да-да, как в первобытных культурах, как в пионерском лагере, как в тюрьме, или на зоне, или в больнице: любую вещь нужно облечь в такую словесную ткань, чтобы в ней открывался новый смысл и чтобы внимание не уходило.

Мне достался тот фестивальный день, когда актер Кирилл Мажаров пересказывал «своими словами» гоголевские «Мёртвые души», Елена Плаксина — «Гадюку» Алексея Толстого, а Янина Романова — «Незнайку на Луне» Николая Носова.

Надо сказать, что мажаровская интерпретация Гоголя понравилась мне больше всего — в ней были очевидный ход и яркий смысл. Выйдя на сцену в спортивной курточке «как бы» с вещевого рынка в Лужниках, актер подчеркивал этот стиль и в тексте: перед нами представляли героини «глубинной России», которая мало изменилась с 90-х годов и теперь вновь погружается туда, так и не успев «оевропеиться». Перевод с гоголевского на «современный русский» был органичен и ненавязчив: да, вот так мы и говорим, вот так и сочетаем самые разные языковые пласты в своей речи, вот так шутим, немного по блавному, используем готовые грубые клише, но главное — вот так мы стремимся *не выделяться*, быть как все, идти в общем строю.

Чичиков — в понимании Мажарова — тот, кто захотел выделиться. Обмануть этот «общий строй», повернуть аферу, которую *сам* придумал и сам захотел осуществить. И этого ему не простили.

Мажаров — театральный актер, игравший в самых знаменитых спектаклях эпохи Волчек, — точно выбрал акцент: историю Чичикова рассказывает то ли мент, то ли зек, то ли тот «средний человек», который ошивается между сильными мира сего, пытаясь их развлечь, перенимая их ухватки и в то же время оставаясь на территории своей несчастливой, заурядной судьбы, народный шут, таких людей можно встретить в любой электричке, в любой пивной.

Есть в этой заурядной судьбе и своя боль, и своя скрытая драма — Мажаров все эти полутона передает прекрасно, и Чичиков в его авторском сторителлинге — фигура, конечно, обреченная, некий несостоявшийся «олигарх», который так и не понял, что в России уже нельзя сегодня построить капитал и карьеру одному, нельзя без круговой поруки, нельзя без стаи волков — стать волком самому. Время успешных одиночек прошло.

Кончается история с «Мёртвыми душами» просто каким-то приговором: нет, не понял Чичиков, увы, что в России «надо просто быть нормальным пацаном», и тогда все будет хорошо.

Вот и задумаешься тут — и о том, что такое это «хорошо», и о том, какие, собственно, ценности и каким образом сегодня будет проповедывать новый «Современник»?

...Вспомнил, кстати, первый образчик жанра «сторителлинга», который явился отечественному слушателю в виде кассет и дисков: был такой Шура Каретный, который пересказывал всю классику от русских народных сказок до романа «Анна Каренина», пересказывал дико смешно (на самом деле это был актер театра «Эрмитаж» Александр Пожаров), все мы тогда хохотали.

Хохотали — и как-то не особо задумывались, а какой в этом смысл? Сам зазор между высокой культурой и народным фольклором был увлекателен, ярк и поглощал внимание.

Мажаров (в отличие от Пожарова) — тоже заставляет смеяться, но как-то скуп. Скорее — оставляет вопросы, и один из них: вот такой пересказ злоключений Чичикова — он смешной или страшный?

В чем позиция? В России «надо быть нормальным пацаном, и тогда все будет хорошо»? Или в том, что «нормальные пацаны» настолько задавили всех вокруг, что даже и увертливому Чичикову не выкрутиться?

Вообще, если говорить серьезно, эта попытка перенести в бытовую речь, в современные языковые клише, грубо говоря, в пошлость и скуку нашей жизни — тексты из хрестоматии, она интересна.

Актриса Елена Плаксина, пытавшаяся с помощью образа современной доморощенной психологини, с ее доморощенным «объективным и субъективным», разгадать трагедию «гадюки», женщины, пришедшей с Гражданской войны с разрушенным внутренним миром и привычкой убивать, — по-моему, перед жутким сюжетом Алексея Толстого все же спасовала.

А вот Янина Романова, пересказавшая путешествие Незнайки на Луну, — честно сказать, поразила. В двух словах пересказав довольно сложную книжку Носова, перескакивая через целые сюжетные линии, она вдруг добралась до главного — и рассказала свою, глубоко личную историю. Незнайку, конечно, спасают в его злоключениях другие коротышки, они «своих не бросают», не преминула сделать этот акцент рассказчица, то есть прилетели «наши» на космическом корабле и вызволили Незнайку.

И я, вдруг добавила Янина Романова, Незнайку прекрасно понимаю: я некоторое время назад поехала с собакой на машине в Италию, там было очень холодно, и вот я ехала три с половиной дня, там было так ужасно холодно, и меня спросил какой-то итальянец «зачем ты сюда приехала?». И я расплакалась и три с половиной дня ехала назад, и вот, добравшись до границы и увидев буквы «Российская Федерация», я вдруг поняла, что люблю любого человека, проживающего в Российской Федерации... Что люблю эту страну.

Долго я думал над этой странной «интерпретацией» Незнайки — быть в патриотическом тренде сегодня, конечно, удобно, выгодно, и зритель поймет, и начальство оценит, но причем тут сторителлинг?

А потом понял.

Этой своей ужасной наивностью (или личной интонацией) актриса зацепила громадную тему — о Незнайке. О том, как хочется сегодня «побывать Незнайкой». Спрятаться в себя. В свой мир. В свои привычки. В своих родных и друзей.

Сегодня многие, очень многие люди прячутся в эту «позицию Незнайки», мечтают оказаться в зоне неведения, пытаются не пересекать границы личного пространства, потому что там — за этими границами — бушует море. Море неизвестности, море неясного будущего, страшное море ответственности и боли.

Это желание спрятаться есть, наверное, у многих, и у меня оно, конечно, тоже есть. И я тоже (как и актриса сторителлинга во дворе театра «Современник») не знаю, как дальше жить и что меня там ждет.

Я прячусь за свои воспоминания.

Я все время спрашиваю себя — «а почему?» и не нахожу ответа. Я — тоже Незнайка.

Мои 90-е. Фото Даниила Духовского

Встретил я девяностые худеньким пятнадцатилетним мальчиком, а к финалу их был уже сложившимся, многое повидавшим мужчиной. Девяностые сформировали меня. С фотоаппаратом я был везде. Я умел видеть «картинку», кадр, воспринимал (и воспринимаю) жизнь через визуальные образы. Мой друг писатель Тьерри Мариньяк утверждает, что по складу души я — коллекционер. Не хочу согласиться, но вынужден, хотя бы частично. Фотографирование объясняется коллекционерской жадностью — удержать, сохранить, зафиксировать. Другой писатель, Юрий Казаков, заметил однажды в дневнике: «Жить — значит вспоминать, жизнь — воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идём, оборотив лицо назад, и всё видим, вспоминая себя в прошлом». Фотография — надёжнейшая форма сохранения воспоминаний. Гербарий.

В то десятилетие, как свойственно молодым людям, я занимался ой как много чем. Все грани тогдашней бурной жизни отпечатались на моих снимках. В эту подборку включены лишь некоторые, за бортом остались железный спорт, путешествия, личная жизнь.

Я никогда не считал себя профессиональным фотографом. Славы фотографа мне было мало. Таковое убеждение не мешало снимать и талантливо, и профессионально, мои снимки тех лет чудо как хороши. Впрочем, чего себя хвалить, всё на фотографиях...

Д.Д.



День похорон Виктора Цоя. Про этот «штурм Зимнего» история забыла.
20 августа 1990 г.



На митинге в Лужниках. Москва, лето 1990 г.



Евгений Евтушенко на митинге возле ЦПКИО.
(Фото повторяет мизансцену картины Босха «Несение креста»,
её фрагмента с нераскаившимся разбойником.)
Москва, июль 1990 г.



Империя времён упадка. Москва, Лефортово, 1990 г.



Общество «Память» у «Райских врат» Казанского собора.
Ленинград, 15 августа 1990 г.



Саша Богданов и его «Антисоветская Правда». Ленинград, лето 1990 г.



Безнадёжность. Москва, Пресня. Начало 90-х



Капитан милиции. День открытия 3-го съезда народных депутатов РСФСР.
Москва, Тверская, 28 марта 1991 г.



Защитники Белого дома. Москва, 20 августа 1991 г.



Диггер Вадим Михайлов в раскопе на Манежной площади. Москва, 1994 г.



Д.А.Пригов «под Солженицыным» в музее В.Сидура.
Москва, 26 декабря 1992 г.



Мой старший товарищ
Эдуард Лимонов «где-то на
просёлочной дороге».
Лето 1994 г.



Наталья Медведева.
Москва, 9 мая 1995 г.



Разрушенный памятник Пушкину.
Съёмки х/ф «Невозвращенец», 1990 г.



Дом Советов горит. Моя война. Москва, 4 октября 1993 г.

Summary

Elena ERMOLOVICH. Chimera

It's a typical picaresque novel: you'll find here intrigues, adventures and charming scoundrels. The characters of "Chimera" are vainly trying to substitute their lost beloved ones by no matter whom, they are rushing through life at random, by touch, under the influence of the moment. Don't try to find historical realities in the writings of the bored lady, she just transfers characters either of Linch's or of hers own dramas into the "gallant century". And Stepan, the watcher, sees only the kaleidoscope of real events or himself in the mirrored passage or maybe just a dream?..

Poetry

Meditations over the role and place of poetry in the life worry the poets. Ganna SHEVCHENKO either reproaches or bitterly states that "poetry can't feed the peoples and warm the orphanages". Anna PAVLOVSKAYA is concerned with searching of "the inspired words". Her poems are presented together with her translations from Belorussian poet Nickola ADAM under the heading "Double Portrait". The young debutants of "DN" Rostislav YARTSEV and DMITRIJ VOYEVODA are also reasoning about what to tell to the world and weather the poetical word is capable to change it.

Anatolij TZIRULNIKOV. Aldan. Inadherent Gears, or The Gold of the Sunset

At the dawn of the last century Aldan was not less famous than Klondike. The Russian "gold rush" was raging. A hundred years later the expedition which comprised the author of this essay and three of his Yakut friends set off for the auriferous Aldan to see how this region lives today, what problems, worries and perspectives it has.

Valeriya PUSTOVAYA. Adventures of the Tight Circle

"Family remains one of the attributes of successful, established life but it's troubled itself. It is perceived as a pledge of the social stability but it is rapidly changing itself. It is considered to be the epitome of love but it discourages the contact. It is presented as the school of affinity but it teaches loneliness". The theme of V. Pustovaya's notes is the works of A. Snegirev, A. Arkatova, E. Nekrasova, K. Buksha which "raise doubts about the family". The author thinks that the current prose about the function, place, structure and philosophy of today's family emerges at the junction of the idea and the truth of life.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

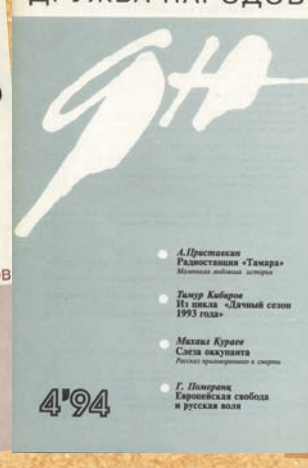
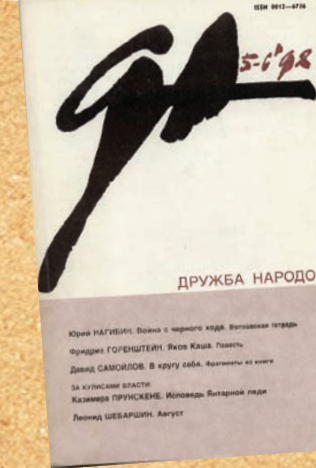
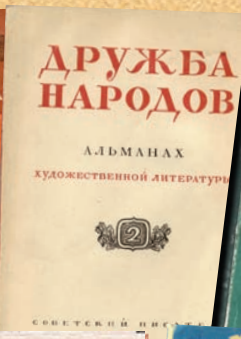
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



ISSN 0013-0750

Куряк НАГУБИЧ. Поэма о черном море. Волжская тетрадь
Федорина ГОРЕНШТЕЙН. Язык Кавказ. Повесть.
Давид САМОИЛОВ. В кругу себя. Фантастика из жизни
За кулисами власти
Калимера ПУРКИСКИЕ. Молодежь. Витарины люди
Леонид ШЕВАРИШ. Август

- ISSN 0013-0750
- А. Приставкин
Радостянки «Тамара»
Минская любовь. История
 - Тимур Кабаров
Из цикла «Дачный сезон
1993 года»
 - Михаил Курган
Снега оккупанта
Рассказ. Прозаический и поэтический
 - Г. Пиллерон
Европейская свобода
и русская воля



**10/2022**

Читайте:

Денис Гуцко, Дарья Зверева. «Герой России».
Утопическая повесть

«Теперь, когда накатывало, и он учинял себе очередной допрос: на что ушла жизнь, чего держаться, чем всё закончится? — ответы не складывались. Будто жил по шпаргалке — и вдруг шпаргалку отобрали. Пустота, которую он распознал — пустота потеряшки в сорок пять лет — на самом деле давно пустила в нём корни. Пустота, которую даже звезда Героя не сумела заполнить. Говорил себе, что защищал страну. Первостепенной важности работа. Кто-то должен истреблять отморозков, чтобы нормальным людям нормально жилось. И тут же загонял себя в угол: "А где они — нормальные? Куда подевались?" В первой же истории, которая ждала его по окончании службы, не обнаружилось ни одного...»

Алексей Устименко. «Луковый Мулен Руж».
Рассказ

«Здесь, в Пихтовке, Цветаева часто и явственно — как сейчас — без всякого внутреннего напряжения ощущала себя тем самым Иваном Ивановичем из Достоевского, который спяну прикорнул на мгновение среди могильных плит на кладбище и вдруг порасслышал голоса умерших, лежащих под ним и вокруг под витиеватыми крестами и многозначительными плитами: то мраморными, то чугунными, то шершавыми каменными. А то и просто под сырыми холмами, только что охлопнутыми похоронными лопатами...»

